

Трущобные люди

Человек и собака

– Лиска, ляг на ноги да погрей их, ляг! – стуча от холода зубами, проворчал нищий, стараясь подобрать под себя ноги, обутые в опорки и обернутые тряпками.

Лиска, небольшая желтая культиная дворняжка, ласково виляя пушистым хвостом и улыбаясь во весь свой ротик с рядом белых зубов, поднялась со снега и легла на заскорузлые ноги нищего.

– Эх, Лисичка! и холодно-то нам с тобой и голодно! Кою ночь ночуем на морозе, а деваться некуда... В ночлежных обходы пошли, как раз к «дяде»¹ угодишь, а здесь, в саду, на летнем положении-то, хоть и не ахти как, а все на воле... Еще спасибо, что и так, подвал-то не забили... И чего это в саду дом пустует: лучше бы отколотили доски да бедных пущали... А вот хлебушка-то у нас с тобой нет... Ничего, до лета потерпим, а там опять на вольную работу, опять в деревню косить пойдем и сыты будем... В лагерья сходим... Солдаты говядинки дадут... Наш брат солдат собак любит... Сам я вот в Туречине собачонку взял щенком в лесу, как тебя же, выкормил, выходил и офицеру подарил. В Расею он ее взял... «Чудаком» звали собаку-то. Бывало, командир подзовет меня и спросит: «Как звать собаку?» – «Чудак, мол, ваше благородие!» А ён, покелича не поймет, и обижается, думает, его чудаком-то зовут... Славная собака была!.. Вот и тебя, как ее, тоже паршивым щенком достал, выкормил, да на горе... Голодаем вот...

Лиска виляла хвостом и ласково смотрела в глаза нищему...

Начало светать... На Спасской башне пробило шесть. Фонарщик прошел по улице и потушил фонари. Красноватой полосой засветлела зорька, погашая одну за другой звездочки, которые вскоре слились с светлым небом... Улицы оживали... Завизжали железные петли отпираемых где-то лавок... Черные бочки прогромыхали... Заскрипели по молодому снегу полозья саней. Окна трактира осветились огоньками...

Окоченелый от холода, выполз нищий из своего логова в сад, послышал пальцы, протер ими глаза, заплывшие, опухшие, – умылся – и приласкал вертевшуюся у ног Лиску.

– Холодно, голубушка, холодно, ну полежи, милая, полежи ты, а я пойду постреляю² и хлебушка принесу... Ничего, Лиска, поправимся!.. Не все же так... Только ты-то не оставляй меня, не бегай... Ты у меня, безродного бродяги, одна ведь. Не оставишь, Лиска?

Лиска еще пуще заюлила перед нищим и по его приказанию ушла в логово, а он, съездившись и засунув руки в рукава рваного кафтана, зашагал по снегу к блестящим окнам трактира...

*

– Сюда, ребята, закидывай сеть, да захватывай подвал, там, наверное, есть! – командовал рыжий мужик шестерым рабочим, несшим длинную веревочную сетку вроде невода.

Те оцепили подвал, где была Лиска.

Она с лаем выскочила из своего убежища и как раз запуталась в сети. Рыжий мужик схватил ее за ногу. Она пробовала вырваться, но была схвачена железными щипцами и опущена в деревянный ящик, который поставили в фуру,пряженную рослой лошадью.

¹ В тюрьму.

² Посбираю милостыню.

Лиска билась, рвалась, выла, лаяла и успокоилась только тогда, когда ее выпустили на обширный двор, окруженный хлевушками с сотнями клеток, наполненных собаками.

Некоторые из собак гуляли по двору. Тут были и щенки, и старые, и дворовые, и охотничьи собаки – словом, всех пород. Лиска чувствовала себя не в своей тарелке и робко оглядывалась. Из конторы вышел полный коротенький человек и, увидав Лиску, спросил:

– Это откуда такая красавица?... совсем лисица, и шерстью, и хвостом, и мордочкой.

– Бродячая, в саду взяли...

– Славная собачка! не сажать ее в клетку, пусть в конторе живет, а то псов прорва, а хорошего ни одного нет... Кличка ей будет «Лиска»... Лиска, Лиска, иси сюды!

Лиска, услышав свое имя, подбежала к коротенькому человечку и завияла хвостом.

Ее накормили, устроили ей постель в сенях конторы, и участь ее была обеспечена, – она стала общей любимицей...

*

Только что увезли ловчие Лиску, возвратился и бродяга в свой подвал. Он удивился, не найдя в нем своего друга, и заскучал. Ходил целый день как помешанный, искал, кликал, хлеба в подвале положил (пушай, мол, дура, поест с голодухи-то, набегается уж!), а Лиски все не было... Только вечером услышал он разговор двух купцов, сидевших на лавочке, что собак в саду «ловчие переимали» и в собачий приют увезли.

– В какой приют, ваше степенство? – вмешался в разговор нищий, подстрекаемый любопытством узнать о судьбе друга.

– Такой уж есть, выискались, вишь, добрые, вместо того чтобы людей вот вроде тебя напоить-накормить да от непогоды пригреть, – собакам пансион устроили.

– Вроде как богадельня собачья! – вставил другой, – и берегут и холят.

Поблагодарил бродяга купцов и пошел дальше, куда глаза глядят.

Счастлив хоть одним был он, что его Лиске живется хорошо, только никак не мог в толк взять, кто такой добрый человек нашелся, что устроил собачью богадельню, и почему на эти деньги (а стоит, чай, немало содержать псов-то) не сделали хоть ночлежного угла для голодных и холодных людей, еще более бесприютных и несчастных, чем собаки (потому собака в шубе, – ей и на снегу тепло). Немало он подивился этому.

Прошло три дня. Сильно заскучал бродяга о своем культяпом друге (и ноги-то погреть некому и словечушка не с кем промолвить!) и решил наконец отыскивать приют, где Лиска живет, чтобы хоть одним глазком посмотреть, каково ей там (не убили ли ее на лайку, али бо што).

Много он народу переспросил о том, где собачья богадельня есть, но ответа не получал: кто обругается, кто посмеется, кто копеечку подаст да, жалеючи, головой покачивает, – «спятил, мол, с горя!» Ходил он так недели зря. Потом, как чуть брезжить стало, увидел он в Охотном ряду, что какие-то мужики сеткой собак ловят да в карету сажают, и подошел к ним.

– Братцы, не вы ли недавнись мою Лиску в саду пымали? Така собачонка желтенькая, культяпая...

– Там вот пымали в подвале под старым трактиром... Как лисица, такая...

– Это она! Самая она и есть!

– Ну, пымали, у нас живет, смотритель к себе взял, говядины не в проед дает...

– А где ваша бог...

Но бродяга не договорил, – вдали показался городской. («Фараон»³ триклятуший, и

³ Городовой.

побалакать не даст, – того и гляди «под шары»⁴ угодишь, а там и «к дяде»!)

Пошел бродяга собачью богадельню разыскивать. Идет и думает. Вспомнилось ему прежнее житье-бытье... Вспомнил он родину, далекую, болотную; холодную «губерню», вспомнил, как ел персики и инжир⁵ в Туречине, когда «во вторительную службу» воевать с чумазой туркой ходил... Вспомнил он и арестантские роты, куда на четыре года военным судом осудили «за пьянство и промотание казенных вещей»... (Уж и вешши! Рваная шинелишка – рупь цена – да сапоги старые, в коих зимой Балканы перевалил да по колено в крови ходил!)... Выпустили его из арестантских рот и волчий билет ему дали (как есть волчий, почет везде, как волку бешеному, – ни тебе работа, ни тебе ночлег!). Потерял он этот свой билет волчий, и стали его, как дикого зверя, ловить: поймают, посадят в острог, на родину пошлют, потом он опять оттуда уйдет... Несколько лет так таскали. Свыкся он с бродяжной жизнью и с острожным житьем-бытьем. Однако последнего боялся теперь, потому что общество его отказалось принимать, и если «пымают, то за бугры, значит, жигана водить»⁶.

А Сибири ему не хотелось!..

*

Опустилась над Москвой ночь – выюжная, холодная... Назойливый, резкий ветер пронизывал насквозь лохмотья и резал истомленное, почерневшее от бродяжной жизни лицо старого бездомника. А все шагал он по занесенным снегом улицам Замоскворечья, пробираясь к своему убежищу... Был он у «собачьей богадельни» и Лиску на дворе видел, да опять «фараоны» помешали. Дальше пошел он. Вот Москва-река встала перед ним черной пропастью... Справа, вдалеке, сквозь выюгу чуть блестели электрические фонари Каменного моста... Он не пошел на мост и спустился по пояс в снегу на лед Москвы-реки.

Бродяга с утра ничего не ел, утомился и еле передвигал окоченевшие, измокшие ноги... Наконец, подле проруби, огороженной елками, силы оставили его, и он, упав на мягкий, пушистый сугроб, начал засыпать...

Чудится ему, что Лиска пришла к нему и греет его ноги... что он лежит на мягком лазаретном тюфяке в теплой комнате и что из окна ему видны Балканы, и он сам же, с ружьем в руках, стоит по шею в снегу на часах и стережет старые сапоги и шинель, которые мотаются на веревке... Из одного сапога вдруг лезет «фараон» и грозит ему...

На третий день после этого дворники, сидя у ворот, читали в «Полицейских ведомостях», что

«Вчерашнего числа на льду Москвы-реки, в сугробе снега, под елками, окружающими прорубь, усмотрен полицией неизвестно кому принадлежащий труп, по-видимому солдатского звания и не имеющий паспорта. К обнаружению звания приняты меры».

А кому нужен этот бродяга по смерти? Кому нужно знать, как его зовут, если при жизни-то его, безродного, бесприютного, никто и за человека с его волчьим паспортом не считал... Никто и не вспомнит его! Разве когда будут копать на его могиле новую могилу для какого-нибудь усмотренного полицией «неизвестно кому принадлежащего трупа» – могильщик, закопавший не одну сотню этих безвестных трупов, скажет:

– Человек вот был тоже, а умер хуже собаки!..

Хуже собаки!..

⁴ В часть.

⁵ Винные ягоды.

⁶ «За бугры жигана водить» – в Сибирь.

*

А Лиска живет себе и до сих пор в собачьем приюте и ласковым лаем встречает каждого посетителя, но не дожидается своего воспитателя, своего искреннего друга... Да и что ей? Живется хорошо, сыта до отвала, как и сотни других собак, содержащихся в приюте... Их любят, холят, берегут, ласкают...

Разве иногда голодный, бесприютный бедняк посмотрит в щель высокого забора на собачий обед, разносимый прислугой в дымящихся корытах, и скажет:

– Ишь ты, житье-то, лучше человеческого!

Лучше человеческого!

Без возврата

С кладбищенской колокольни тихие, торжественные звуки часового колокола пронесли по спавшей окрестности.

Двенадцать.

Новый часовой сосчитал часы и осмотрелся, насколько позволял это сделать мрак темной ночи. Он родился в этом городе, и местность, скрытая мраком ночи, была ему хорошо знакома. Пороховой погреб, порученный его надзору, стоял в полуверсте от городской заставы, на глухом всполье, заросшем то мелким кустарником, рассыпанным по кочкам давно высохшего болота, то бурьяном. Направо, шагах в полтораста от погреба, возвышалось на голом холме еврейское кладбище, а налево, в роскошной березовой роще – христианское, обнесенное полуразрушившимся земляным валом, местами сровнявшимся с землею. Все это знакомые места, где он играл ребенком. Они напомнили ему годы детства, и невольно он задумался над своим настоящим.

Из дядиной семьи, где он был принят и обласкан как сын родной, Воронов очутился в казармах, под командой фельдфебеля, выкреста из евреев, и дядьки, вятского мужика, заставлявшего своего «племяша» чистить сапоги и по утрам бегать в лавку и трактир с жестяным чайником за покупкой: «на две – чаю, на две – сахару и на копейку – кипятку».

Тяжела была ему первое время солдатская жизнь, невыносимо казалось это день-деньское ученье, грязные работы и прислуживанье дядьке.

Только ночью, с усталыми, изломанными членами, он забывался сладкой грезой. Но пять часов утра, и голос дневального «шоштая рота, вставай!» да звук барабана или рожка, наяривавшего утреннюю зорю, погружал его снова в неприглядную действительность солдатской жизни.

Он с усилием открывал глаза и расправлял изломанные на ученье члены.

Сквозь густой пар казарменного воздуха мерцали красноватым потухающим пламенем висячие лампы с закоптелыми дочерна за ночь стеклами и поднимались с нар темные фигуры товарищей. Некоторые уже, набрав в рот воды, бегали по усыпанному опилками полу, наливали в горсть воду и умывались. Дядькам и унтер-офицерам подавали умываться из ковшей над грудами опилок. Некоторые из «старых» любили самый процесс умывания и с видимым наслаждением доставали из своих сундучков тканые полотенца, присланные из деревни, и утирались. А спавший рядом с Вороновым на нарах «штрахованный» солдатик Пономарев, пропивавший всегда и все, кроме казенных вещей, утирался полой шинели или суконным башлыком. Полотенца у Пономарева никогда не было.

– Ишь лодырь, полотенца собственного своего не имеет! – заметил ему раз взводный Терентьев.

– Где же я возьму, Трифон Терентьич? Из дому не получаю денег, а человек я не мастеровой.

– Лодырь ты, дармоед, вот что! У исправного солдата всегда все есть, хоть Егорова

взять для примеру!

Егоров, солдатик из пермских, со скопческим, безусым лицом, встал с нар и почтительно вытянулся перед взводным.

– Егоров от нас же наживается, по пятаку с рубля проценты берет... А тут на девять-то гривен жалованья в треть да на две копейки банных не раскутишься...

– Пшел, становись на молитву! – раздалась команда дежурного по роте и прекратила спор...

Воронов считался в роте «справным» и «занятым» солдатом. Первый эпитет ему прилагали за то, что у него все было чистенькое и мундир, кроме казенного, срочного, свой имелся, и законное число белья, и пар шесть портянок. На инспекторские смотры постоянно одоужались у него, чтобы для счета в ранец положить, ротные бедняки, вроде Пономарева, и портянками и бельем. «Занятым» называл Воронова унтер за его способность к фронтовой службе, «емнастике» и «словесности», обыкновенно плохо дающейся солдатам из неграмотных, которых всегда большинство в пехотных полках армии.

– Садись на словесность! – бывало, командует взводный офицер из сдаточных, дослужившийся годам к пятидесяти до поручика, Иван Петрович Копьев.

И садится рота: кто на окно, кто на нары, кто на скамейку.

– Егоров, что есть солдат? – сидя на столе, задает вопрос Копьев.

Егоров встает, уставляет белые, без всякого выражения глаза на красный нос Копьева и однотонно отвечает:

– Солдат есть имя общее, именитое, солдат всякий носит от генерала до рядового...

– Вррешь! Дневальным на два наряда... Что есть солдат, Пономарев?

– Солдат есть имя общее, знаменитое, носит имя солдата...

– Вррешь. На прицелку на два часа! Не носит имя, а имя носит... Воронов, что есть солдат?

– Солдат есть имя общее, знаменитое, имя солдата носит всякий военнотружущий от генерала до последнего рядового.

– Молодец Воронов!

– Рад стараться, ваше благородие!

Далее следовали вопросы: «что есть присяга, часовой, знамя» и др. и, наконец, сигналы. Для этого призывался горнист, который на рожке играл сигналы, и Копьев спрашивал поочередно, какой сигнал что значит, и заставлял спрашиваемого проиграть сигнал на губах или спеть его словами. В последнем случае горнист отсылался.

– Играй наступление, раз, два, три! – хлопал в ладоши Копьев, и с последним ударом взвод начинал хором:

– Та-ти-та-та, та-ти-та-та, та-ти, та-ти, та-ти-та, та, та, та.

– Верно! пой словами.

И взвод пел: «За царя и Русь святую уничтожим мы любую рать врагов».

Если взвод пел верно, то Копьев, весь сияющий, острил:

– У нас, ребята, при Николае Павловиче, этот сигнал так пели: «У тятеньки, у маменьки просил солдат говядинки, дай, дай, дай!» А то еще так: «Топчи хохла, топчи хохла, топчи, топчи, топчи хохла, топ, топ, топ!»

Взвод хохотал, и Копьев не унимался, он каждый сигнал пел по-своему.

– А ну-ка, ребята, играй четвертой роте!

– Та-та-ти-а-тат-та-да-то!

– Словами!

– «Вот зовут четвертый взвод!»

– А у нас так пели: «Настассия-попадья», а то: «Отрубили кошке хвост!».

И Копьев рад, ликует, глядя на улыбающихся солдат.

Зато если ошибались в сигналах – беда. Нос его багровел больше прежнего, ноздри раздувались, и половина взвода назначалась не в очередь на работу или «удила рыбу». Так называлось двухчасовое стоянье «на прицелке» с мешком песку на штыке. Воронов ни разу

не был наказан ни за сигналы, ни за словесность, ни за фронтовое ученье. В гимнастике и ружейных приемах он был первым в роте, а в фехтовании на штыках побивал иногда «в вольном бою» самого Ермилова, учебного унтер-офицера, великого мастера своего дела.

– Помни, ребята, – объяснял Ермилов ученикам-солдатам, – ежели, к примеру, фихтуешь, так и фихтуй умственно, потому фихтование в бою есть вещь первая, а главное, помни, что колоть неприятеля надо на полном выпаде в грудь, коротким ударом, и коротко назад из груди штык вырви... Помни, из груди коротко назад, чтобы ён рукой не схватал... Вот так: р-раз – полный выпад и р-раз – назад. Потом р-раз – д-ва, р-раз – д-ва, ногой коротко притопни, устрашай его, неприятеля, р-раз – д-ва!

И Воронов мастерски коротко вырывал штык из груди воображаемого неприятеля и, энергично притопывая ногой, устрашал его к крайнему удовольствию Ермилова, любившего его «за ухватку».

– Что тебя скрючило? Живот болит, что ли, мужик? – кричал, бывало, Ермилов на скорчившегося с не привычки к боевой стойке солдата.

– А? Что это? Ты вольготно держись, как генерал в карете, развалишься, а ты как гусь на проволоке...

Любили Воронова и солдаты за то, что он рад был каждому помочь, чем мог, и даром всем желающим писал письма в деревню.

– У нас в роте и такой-то писатель, такой-то писатель объявился из молодых, что страсть, – говорили солдаты шестой роты другим, – такие письма складные пишет, что хоть кого хошь разжалобит, и денег пришлют из деревни...

Прослужил Воронов девять месяцев, все более и более свыкаясь со службой и заслуживая общую любовь. В караул его назначали в первый раз, к пороховому погребу...

Воронов со страхом оглядывался, стоя на своем посту, и боязливо жался к будке, крепко сжимая правой рукой ложе винтовки...

Ночь была тихая и темная, хоть глаз выколи. Такие ночи нередко бывают во второй половине августа месяца в нашей средней полосе России.

Прямо перед ним громоздился черный город, в котором в виде красноватых точек, обрамленных радужными кругами, виднелись несколько фонарей, а направо и налево не видно зги.

Часовой обернулся лицом по направлению к кладбищу, снял шапку и перекрестился.

«Отец мой и мать здесь лежат...» – подумалось ему...

«А тут, налево, подле еврейского кладбища, жида-знахаря хоронили... Похоронили, а он все по ночам ходил, так осиновый кол ему в спину вбили»... Вспомнились Воронову предания, слышанные в детстве...

«Тут вот, у нашего кладбища, солдатик расстрелянный закопан... А здесь...»

Вдруг какие-то радужные круги завертелись в глазах Воронова, а затем еще темнее темной ночи из-под земли начала вырастать фигура жида-знахаря, насквозь проколота окровавленным осиновым колом... Все выше и выше росла фигура и костлявыми, черными, как земля, руками потянулась к нему... Воронов хочет перекреститься и прочесть молитву «Да воскреснет бог», а у него выходит:

– Солдат есть имя общее, знаменитое...

А фигура все растет и все ближе тянется к нему руками. Он закрыл глаза, но и сквозь закрытые веки он еще яснее видит и землистые руки, и, как у кошки, блестящие, где-то вверху, зеленые глаза, и большой, крючковатый нос жида...

А сзади раздаются чьи-то тяжелые шаги и тихие, за душу берущие стоны.

Целый рой приведений встает перед часовым: и жид-знахарь с землистыми руками и зелеными глазами оскаливает белые, длинные, как у старого кабана, клыки, и фигура расстрелянного солдата в белом саване лезет из-под земли, и какие-то звери с лицами взводного офицера Копьева.

Он чувствует, как стучат зубы и как волосы поднимают дно его фуражки. Он еще крепче сжал ружье и еще крепче прижался к будке.

А фигуры, всё одна страшней другой, носились перед ним, а сзади что-то тихо, тихо стонало, будто под землей.

Он поднял руку, чтобы перекреститься, но в тот момент ружье выпало у него из рук и пропало. Ему показалось, что ружье провалилось сквозь землю...

Не помня, что делает, не сознавая, что с ним, Воронов бросился бежать. Он мчался, как вихрь, едва касаясь земли, а приведения гнались за ним со стонами, свистом, гиканьем. Ему ясно слышались неистовые возгласы, вой, рев, и громче всех голос Копьева: «Вррешь – не уйдешь!»

Он бежал, а над головой его мелькала мохнатая, землистая рука жида-знахаря и его черная фигура, головой упирающаяся в небо. Вдруг из-под земли вырос кто-то в белом саване и обхватил его...

Пронизывающий холодок привел Воронова в чувство. Он открыл глаза.

Над ним свесились ветки деревьев с начинающими желтеть листьями. Красноватые лучи восходящего солнца яркой полосой пробегали по верхушкам деревьев, и полоса становилась все шире и шире. Небо, чистое, голубое сквозило сквозь ветки.

Воронов привстал и оглянулся. Кругом могильные холмики и кресты. Рядом с ним белый, только что выкрашенный крест. Он снова опустился на землю и на момент закрыл глаза, не понимая, что с ним, где он. Рука его упала на пояс и нащупала патронную суму.

Воронов что-то сообразил, и ужас отразился в его глазах.

— Да ведь я с часов бежал! — невольно сорвалось у него с языка.

«Часовому воспрещается сидеть, спать, есть, пить, курить, разговаривать с посторонними, делать в виде развлечения ружейные приемы, выпускать из рук или отдавать кому-либо ружье и оставлять без приказа сменяющего пост. Часовой, оставивший в каком бы то ни было случае свой пост, подвергается расстрелянию», – промелькнула в уме его фраза, заученная со слов Копьева.

Рас-стре-лянию!

Он закрыл глаза и увидел памятную ему с детства картину: здесь же, близ кладбища, расстреливали солдата. Несчастный стоял привязанный к столбу в белом саване. Перед ним стояла шеренга солдат. Молодой, рыжий, с надвинутой на затылок кепи офицер махнул белым платком, и двенадцать ружей блеснули на ярком утреннем солнце светлыми стволами, и в одну линию, параллельно земли, вытянулись впереди солдат, сделавших такое движение, будто бы они хотели достать концами острых штыков солдатика в саване, а ноги их примерзли к земле.

Рыжий офицер опять махнул платком. Из стволов вырвались одновременно двенадцать огненных язычков, затем клубов белого дыма, слившихся в сплошную массу, и белый саван на привязанном солдате дрогнул, всколыхнулся раза три, а голова его в белом колпаке бессильно повисла на груди.

Воронов с такими же, как он, ребятишками смотрел из огорода на казнь. Это было лет десять назад, очень рано утром. Утро было такое же солнечное, ясное, как и теперь. Воронов вздрогнул, и голова его опустилась так же бессильно на грудь, как у расстрелянного солдата.

– Вот так же и меня! – Он еще два раза поднял и опустил голову на грудь, будто репетируя, как опустить голову, когда его будут расстреливать, и каждый раз, как он опускал голову, чувствовал, что в грудь вонзались пули...

Он вдруг открыл глаза и вскочил на ноги.

– А может быть, еще не хватились, может, и смена не приходила, – вскрикнул Воронов и выбежал на опушку кладбища, на вал и, раздвинув кусты, посмотрел вперед. Далеко перед ним раскинулся горизонт. Налево, весь утопающий в зелени садов, город с сияющими на солнце крестами церквей, веселый, радостный, не такая темная масса, какой он казался ночью... направо мелкий лесок, левой его дерновая, зеленая горка, а рядом с ней выкрашенная в казенный цвет, белыми и черными угольниками, будка, подле порохового погреба.

Взор Воронова остановился на будке. Около нее стоял недвижимо, как статуя, новый часовой.

У дверей погреба ходил офицер и несколько солдат. Офицер осматривал печати и что-то размахивал руками. Солдаты держали под козырек.

Воронов посмотрел на город, на поляну, где расстреливали солдатику, перекрестился и ползком, между кустарниками, дрожа от страха, добрался до лесу...

Перед ним открывалась бесконечная лесная трущоба.

Воронов обернулся назад и посмотрел в сторону города.

«Расстрелянию», – мелькнуло в его уме.

Он махнул рукой и скрылся в дебрях леса.

Обреченные

I

На самом краю города Верхневолжска, на высоком, обрывистом берегу Волги, стоит белильный завод, принадлежащий первогильдейному купцу миллионеру Копейкину. Завод этот, состоящий из целого ряда строений деревянных и каменных, закоптелых, грязных снаружи и обнесенных кругом высоким забором, напоминает собою крепость. Мрачно, неприятливо выглядывает он снаружи... острожным холодом веет от него...

У высоких решетчатых железных ворот завода бессменно, день и ночь, сидит сторож, обыскивая каждого выходящего изнутри и спрашивая каждого входящего, «зачем?» и «к кому он идет?».

В один из холодных январских воскресных вечеров холодного 187... года к воротам завода подходил, или, вернее сказать, подбегал, молодой человек, с интеллигентным лицом, одетый в рубище, в опорках вместо сапог, надетых на босые ноги. Подошедший постучал в калитку большим железным кольцом, и на стук вышел сторож, усатый солдат, с добродушно-строгим выражением чисто русского, курносого лица.

– Что тебе?

– Насчет места... нет ли у вас на заводе... – под аккомпанемент щелкавших от холода зубов вымолвил подошедший.

– Замерз, босая команда!.. Ну ступай в сторожку, погрейся уж! – не отвечая на вопрос, добродушно сказал солдат, окидывая его взглядом.

Молодой человек вошел в маленькую сторожку, теплую, как баня, от накалившейся железной маленькой печки, и поместился у притолоки.

– Садись к печке, погрейся, – пригласил его солдат, что и было немедленно исполнено.

– Ну, пропился, что ли, коли на копейкинские хлеба пришел? Вперво#769;й сюда?

– Да, ни разу еще нигде не работал, хоть с голоду умирай, спасибо еще добрые люди послали, а то хоть и топиться так в пору!

– А сам из каких? Приказчик прогорелый или из трактирщиков?

– Нет, юнкером на Кавказе служил, офицерского чина не получил, вышел в отставку, приехал сюда место искать и прожился...

Сторож переменял тон. На его лице мелькнула улыбка, выражавшая горькое сожаленье и вместе с тем насмешку.

– Что ж делать, барин! Не вы первый, не вы последний! Трудно только вам будет здесь без привычки, народ-от мрет больно! Вот сейчас подпоручика Шалеева в больницу увезли, два года вытрубил у нас, надо полагать не встанет, ослаб!

– Неужели рабочим, простым рабочим был подпоручик?

– Эх, барин! Да что подпоручик, капитан, да еще какой, работал у нас! Годов тому назад пяток, будем говорить, капитан был у нас, командир мой, на Капказе вместе с ним мы горцев покоряли, с туркой дрались...

– Капитан?

– Как есть; сижу я это словно как теперь в сторожке... перед рождеством было дело, холодно... Вдруг, слышу, в ворота кто-то стучится – выхожу. Стоит это он у ворот, дрожит. Сапожки ледяные, шапочка на голове робячья, махонькая, кафтанишка – пониток рваный, тело сквозь видать, – не узнал я его сразу, гляжу, знакомое лицо, так и хочется сказать: Левонтий Яковлевич, здоровья желаю! Да уж изменился больно ён, прежде-то, при мундире, да при орденах, красавец лихой был, а тут осунулся, почернел, опять и одежда... иначе я таки признал его, по рубцу больше: на левой щеке рубец был, в Дегестане ему в набеге шашкой вдарили... Ну, признал я его и говорю: «Вашскоброе, вы ли Левонтий Яковлевич?» А я с ним в охотниках под горца хаживал, так все его по имени звали... Любили больно уж... Взглянул ён на меня да как заплачет.

– Здравствуй, – гырт, – Размоляев! – Заплакал и я тут... Повел его в сторожку, чайком, водочкой угостил...

– И теперь здесь? – спросил молодой человек.

– Нет, барин, зиму-то он выжил кой-как, а весной приказчика поколотил, ну его и прогнали... Непокорливый он был! Да и то сказать опять, человек он заслуженный, а тут мужика-приказчика слушайся! Да и что! Господам офицерам на воле жить плохо, особенно у хозяев ежели служить: хозяин покорливости от служащего перво-наперво требует, а они сами норовят по привычке командовать! Вот нашему брату не в пример вольготней: в сторожа ли, в дворники – везде ходит, потому нам что прикажут, без рассуждений исполняем... Одначе и из нашего брата ныне путных мало: как отслужил службу, так и шабаш, домой землю орать не заманишь, всё в город на вольные хлеба норовит! Вон у нас на заводе все, почитай, солдаты...

В сторожку вошел высокий, одетый в оборванный серый кафтан солдат.

– Здорово, Капказский, садись! – приветствовал его сторож.

– Здорово! – молвил вошедший и опустился на лавку.

– Новенький? – спросил он.

– Да, наш капказец, юнкарь! – ответил Размоляев и вышел из сторожки вместе с барином.

– Вот пожалуйста в контору, там есть приказчик, так к нему обратитесь, – указал он на белое одноэтажное здание с вывеской «контора».

В конторе за большим покрытым черным сукном столом сидел высокий рыжий мужчина.

– Что тебе?

– Насчет места...

– В кубовщики, четыре рубля в месяц!.. Ванька, сведи его в третий номер, – крикнул сидевший за столом мальчику, который стоял у притолоки и крутил в руках обрывок веревки.

– Сегодня гуляй, а завтра в четыре утра на работу! – крикнул вслед уходившим приказчик.

II

Иван показал Луговскому корпус номер третий, находившийся на конце двора.

Это было длинное, желтого цвета, грязное и закопченное двухэтажное здание, с побитыми стеклами в рамах, откуда валил густой пар. Гуденье сотни голосов несло на двор сквозь разбитые стекла.

Луговский отворил дверь; удушливо-смердящий пар, смесь кислой капусты, помойной ямы и прелого грязного белья, присущий трущобным ночлежным домам, охватил Луговского и вместе с шумом голосов на момент ошеломил его, так что он остановился в двери и стоял до тех пор, пока кто-то из сидевших за столом не крикнул ему:

– Эй, черт, затворяй дверь-то! Лошадей воровал, так небось хлев затворял!

Луговский вошел. Перед ним была большая казарма; по стенам стояли столы, длинные,

грязные, обсаженные кругом народом. В углу, налево, печка, в которой были вмазаны два котла для щей и каши. На котле сидел кашевар с черпаком в руках и разливал в чашки какую-то водянистую зеленую жидкость. Направо, под лестницей, гуськом, один за другим, одетые в рваных рубахах и опорках на босую ногу, толпились люди, подходя к приказчику, который, черпая стаканчиком из большой деревянной чашки водку, подносил им. Каждый выпивал, кричал и садился к столу. Приказчик заметил Луговского.

– Новенький, что ли?

– Да, сейчас нанялся!

– Ну, иди, пей водку да садись ужинать.

Луговский выпил и сел к крайней чашке, около которой уже сидело девять человек. Один, здоровенный молодой малый, с блестящими серыми глазами, с бледным, утомленным, безусым лицом, крошил говядину и клал во щи из серой капусты. Начали есть. Луговский, давно не пробовавший горячей пищи, жадно набросился на серые щи.

– Ишь ты, слава богу, с воли-то пришел, как ест! В охотку еще! – пробормотал седой старик с землистым цветом лица и мутными глазами, глядя на Луговского.

– А тебе и завидно, ворона старая! – заметил старику крошивший мясо парень.

– Не завидно, а все-таки... – ответил старик, вытаскивая из чашки кусок говядины.

– Раз! – раздалось громко по казарме, и парень, крошивший говядину, влепил звучный удар ложкой по лбу старика.

– Ишь, ворона, все норовит как бы говядинки, а другим завидует!

– Чего дерешься, Пашка? – огрызнулся на парня старик.

– А то, что прежде отца в петлю не суйся, жди термину: скамандую «таскай со всем», так и лезь за говядиной, а то ишь ты! Ну-ка, Сенька, подлей еще! – сказал Пашка, подавая грязному кашевару чашку. Тот плеснул щей и поставил на стол. Хлебнули еще несколько раз. Пашка постучал ложкой в край чашки. Это было сигналом таскать говядину. Затем была подана белая пшенная каша с постным, из экономии, маслом. Ее, кроме Луговского и Вороны, никто не ел.

– Что это никто каши не ест? Каша хорошая, – спросил Луговский сидевшего с ним рядом Пашку.

– погоди, брат, недельку поживешь, на ум каша-то не пойдет, ничего не захочешь! Я, брат, в охотку-то сперва-наперво похлестче твоего ел, а теперь и глядеть-то на еду противно, вот что!

Пока Луговский ел, весь народ ушел вверх по лестнице в казарму. За ними, через несколько времени, пошел и он. Вид и воздух верхней казармы поразил его. Это была комната сажен в пять длиной и сажени четыре шириною. По трем стенам в два ряда, один над другим, шли двухэтажные нары, буквально битком набитые народом. Кроме того, спали под нарами, прямо на полу. Постели были у редких. Некоторые расположились на рогожках, с поленом в головах, некоторые раскинулись на полу, без всего. А пол? Пол был покрыт, более чем в вершок толщиной, слоем сероватой грязи, смеси земли и белил. Посредине казармы горела висячая лампа, страшно коптившая. Рабочие уже многие спали. Некоторые лежа разговаривали. Луговский остановился, смотря, куда бы лечь.

– Эй, новенький, поди сюда, здесь слободно! – крикнул ему из-под нар Пашка, растянувшийся на полу во весь свой гигантский рост. Луговский лег с ним рядом.

Прошло часа три времени, – вся казарма храпела на разные лады.

Не спалось только Луговскому.

Он, облокотясь, с удивлением осматривал всю эту ужасную обстановку, этих ужасных, грязных оборванцев, обреченных на медленную смерть и загнанных сюда обстоятельствами.

– Господи, неужели я совсем пропал! – невольно вырвалось у него, и слезы обильным ручьем потекли по его бронзовому, но нежному лицу.

– Будет вам, барин, плакать, бог милостив! – раздался тихий шепот сзади него, и чья-то громадная, жесткая, как железо, ручища опустилась на плечо Луговского.

Он оглянулся. Рядом с ним сидел встреченный им в сторожке мужчина средних лет,

геркулесовского телосложения, но истомленный, с земляным лицом и потухающими уже глубокими серыми глазами. Громадные усы, стриженная голова и побритый, но зарастающий подбородок показывали в нем солдата.

– Полно вам, барин, не плачьте, – участливо сказал солдатик.

– Так я... что-то грустно... Первый раз в жизни заплакал... – заговорил Луговский, отирая слезы.

– Ну вот, так-то лучше! Чего вы! Вот бог даст весна придет, на волю пойдем... Солнышко... работа вольная на Волге будет! Что вам печалиться, вы молодой, ученый, у вас дорога широкая. Мне о вас Размоляев давечи рассказывал. Вот моя уж песенка спета, мне и крышка тут!

– А вы давно здесь живете?

– Шестой год по заводам странствую. Лето зимогорю по пристаням, а на зиму либо к Охромееву, либо к Свинчаткину, либо сюда. Привык я к этой работе... Работа легкая, часов шесть в сутки, есть вволю, место теплое... ну и манит! Опять на эти заводы всегда народ нужен, потому мужик сюда мало идет, вреды боится; а уж если идет какой, так либо забулдыга, либо лентяй, либо никакого другого места не найдет. Здесь больше отпускной солдат работает али чиновник, ежели ему некуда пристроиться... Вот, супротив вас, на нарах долговолосый лежит – чиновник-пропойца, три года и лето и зиму здесь около шляется. «Секлетарем» наши его зовут. Получит жалованье, пропьет, опять живет, да и куда ему идти? На службу не годится, в другую работу – силенки мало, вот и околачивается. А вот рядом с ним, где теперь мальчишка спит, офицер жил, да в больницу отправили, умрет – надо полагать.

– Чем он болен был?

– От свинцу, от работы. Сперва завалы делаются, пишшии никакой не захочется, потом человек ослабнет, а там положили в больницу, и умер. Вот я теперь ничего не ем, только чаем и живу, да водки когда выпью при получке...

– А здоровы вы?

– Какое здоров! Еще бы годик-другой протянуть, так и хорошо бы...

– Семья у вас?

– Какая семья у солдата! Жена была в мужиках-то. В службу отдали, одиннадцать годов отслужил, воротился домой – ни кола, ни двора. Жена все прогуляла без меня, да я и не сержусь на ее. Как же и не гулять, одиннадцать лет не видались, жить ей без поддержки как? Дело бабье, ну и пошла! Бог с ней, я не сержусь!.. И сам не без греха ведь! Пришел, поглядел – куда деваться! Для кого жить?! Детишек не было... Пришел сюда вот да коротаю век... Спервоначалу-то, как и вы, зимой без одежды пришел, думал ненадолго, да так, видно, до смерти здесь и затянулся!.. Ничего, привык больше уж некуда...

– Так и я, пожалуй, также... навек здесь... – искренно вымолвил Луговский и вздрогнул даже при этой мысли. От солдатика не скрылось это движение.

– Не бойтесь, барин, бог поможет, ничего, выпутаемся...

Потом он сразу постарался переменить разговор.

– Ну, барин, вы человек новый, и я вот расскажу всю нашу работу, то есть как за нее приняться. Вы назначены в кубочную, где и я работаю. У нас два сорта рабочих – кубочники и печники. Есть еще литейщики, которые белила льют, так то особа статья. Печники у печки свинец пережигают, а кубочники этот самый свинец в товар перегоняют, и уж из товара литейщики белила льют... Кубики бывают сперва-наперво зеленые, потом делаются серыми, там белыми, а потом уж выходят в клейкие, в товар. Где в два месяца выгоняют кубик в товар, где в три. У нас месяца в два с половиной, потому кубочные жаркие. Зеленый кубик для работы самый вредный, а клейкий самый трудный – руки устают, мозоли будут на руках. Вот вы теперь со мной рядом, будете заместо офицера, который, я говорил, в больницу ушел, а кубик остался клейкий...

– Стало быть, трудно будет?

– Ничего, я помогу; а теперь, барин, усните, завтра в пять часов вставать, ложитесь.

– Благодарю вас, благодарю! – со слезами выговорил Луговский и обеими руками крепко пожал руку собеседнику.

– Спите-сь, спокойной ночи! – проговорил тот, вставая.

– А ваше имя-отчество?

– Капказский – так меня зовут.

– Нет, вы мне имя-отчество скажите...

– Нет, барин, зовите Капказский, как и все!

– Не хочу я вас так называть, скажите настоящее имя...

– Был у меня на Капказе, в полку, юнкарь, молодец, словно и вы, звал он меня «Григорьич», зовите и вы, если уж вам угодно.

– А вы, Григорьич, кавказец?

– Да, Тенгинского полка...

– Так и я Тенгинского, юнкером служил в нем.

– Эх, барин мой родной, где нам пришлось свидеться!..

Слезы градом полились у обоих горемык, родных по оружию. Крепко они обнялись и заплакали...

– Милый мой барин, где нам пришлось встретиться!.. – всхлипывая, говорил кавказец.

– Чего вы там, черти, дьяволы, спать не даете! – послышался чей-то глухой голос из угла...

Кавказский оправился, встал и пошел на свое место.

– До завтра, барин, спите спокойно! – на пути выговорил он.

– Прощай, Григорьич, спасибо, дядька! – отвечал Луговский и навзничь упал на грязный пол.

Измученный бессонными ночами, проведенными на улицах, скоро он заснул, вытянувшись во весь рост. Такой роскоши – вытянуться всем телом, в тепле – он давно не испытывал. Если он и спал раньше, то где-нибудь сидя в углу трактира или грязной харчевни, скорчившись в три погибели...

А уснуть, вытянувшись во весь рост, после долгой бессонницы – блаженство.

III

В соседней с заводом церкви ударили к заутрене. В казарму, где спали рабочие, вошел ночной сторож, ходивший в продолжение ночи по двору, и сильно застучал в деревянную колотушку.

– Подымайтесь на работу, ребяташки, подымайсь! – нараспев прикрикивал он.

– Эй, каторга – жисть. Господи, а-а-а! – раздался в ответ в углу чей-то сонный голос.

– Во имя отца и сына и святого духа, – забормотали в другом.

– На работу, ребяташки, на работу! – еще усилил голос сторож.

– Чего ты, осовелый черт, дармоед копейкинский, орешь тут, словно на панифиде? – вскочив с полу, зыкнул на него Пашка, прозванный за рост и силу атаманом.

– Встал, так и не буду, и уйду, чего ругаешься, – испуганно проворчал сторож и начал спускаться вниз.

– Паша, а фискал-то тебя боится, науку, значит, еще не забыл, – сказал Пашке один из рабочих подобострастно заискивающим голосом.

– Вставать в кубочную, живо! – скомандовал Пашка, и вся эта разношерстная ватага, зевая, потягиваясь, крестясь и ругаясь, начала подниматься. В углу средних нар заколыхалась какая-то груда разноцветных лохмотьев, и из-под нее показалась совершенно лысая голова и заспанное, опухшее, желтое, как шафран, лицо с клочком седых волос вместо бороды.

– Вставайте, братцы, пора, сам плешивый козел из помойной ямы вылезает, – указывая на лысого, продолжал Пашка. Многие захохотали: «козел» отвернулся в угол, промычал какое-то ругательство и начал бормотать молитву.

Понемногу все поднялись поодиночке один за другим, спустились вниз, умывались из ведра, набирая в рот воды и разливая по полу, «чтобы в одном месте не мочить», и, подымаясь вверх, утирали лица кто грязной рубашкой, кто полой кафтана...

Некоторые пошли прямо из кухни в кубочную, отстоявшую довольно далеко на дворе.

Разбуженный Кавказским, Луговский тоже умылся и вместе с ним отправился на работу.

На дворе была темь, метель так и злилась, крупными сырыми хлопьями залепляя глаза.

Некоторые кубочники бежали в одних рубахах и опорках.

– Холодно, дядька! – шагая по снегу и стуча зубами от холода, молвил Луговский.

– Сейчас, барин, согреемся. Вот и кубочная наша, – показывая на низкое каменное здание с освещенными окнами, ответил дядька.

Они вошли сначала в сени, потом в страшно жаркую, наполненную сухим жгучим воздухом комнату.

– Ух, жарница! – сказал кавказцу Луговский.

– Тепло, потому клейкие кубики есть, они жар любят, – ответил тот.

Луговский окинул взглядом помещение; оно все было занято рядом полок, выдвижных, сделанных из холста, натянутого на деревянные рамы, и вделанных, одна под другой, в деревянные стойки. На этих рамах сушился «товар». Перед каждым тремя рамами стоял неглубокий ящик на ножках в высоту стола; в ящике лежали белые круглые большие овалы.

– А вот и кубики. Их мы сейчас резать будем! – показал на столы кавказец и подал Луговскому нож особого устройства, напоминающий отчасти плотнический инструмент «скобель», только с длинной ручкой посредине.

– Это нож, им надо резать кубик мелко-намелко, чтоб ковалков не было. Потом кубики изрежем – разложим их на рамы, ссыпем другие и сложим. А теперь снимайте с себя платье и рубашку, а то жарко будет.

Луговский снял рубашку. Кавказец окинул его взглядом и, любясь могучим сложением Луговского, улыбнулся:

– Ну, барин, вы настоящий кавказец, вам с вашими руками можно пять кубиков срезать!

Луговский действительно был сложен замечательно: широкие могучие плечи, высокая, сильно развитая грудь и руки с рельефными мускулами, твердыми, как веревки, показывали большую силу.

Он начал резать кубик. Мигом закипело дело в его руках, и пока кавказец, обливаясь потом, тяжело дыша, дорезывал первый кубик, Луговский уже dokonчил второй. Пот лил с него ручьем. Длинные волосы прилипли к высокому лбу. Ладонь правой руки покраснелась, и в ней чувствовалась острая боль – предвестник мозолей.

– Ай-да барин, наше дело пойдет! – удивился Кавказский, смотря на мелко изрезанные кубики.

– Хорошо?

– Лучше не треба! Теперь раскладывайте его на рамки, вот так, а потом эти рамки в станки сушить вставим.

Сделано было и это. На дворе рассвело...

– Теперь вот извольте взять эту тряпицу и завяжите ей себе рот, как я, чтобы пыль при ссыпке не попала. Вредно. – Кавказский подал Луговскому тряпку, а другой завязал себе нижнюю часть лица. Луговский сделал то же. Они начали вдвоем снимать рамки и высыпать «товар» на столы. В каждой раме было не менее полпуда, всех рамок для кубика было десять. При ссыпке белая свинцовая пыль наполнила всю комнату.

Затем кубики были смочены «в препорцию водицей», как выражался Кавказский, и сложены. Работа окончена. Луговский и Кавказский омылись в чанах с водой, стоявших в кубочной, и возвратились в казарму, где уже начали собираться рабочие. Было девять часов. До одиннадцати рабочие лежали на нарах, играли в карты, разговаривали. В одиннадцать – обед, после обеда до четырех опять лежали, в четыре – в кубочную до шести, а там – ужин и

спать...

IV

Так и потекли однообразно день за днем. Прошло два месяца. Кавказский все сильнее кашлял, задыхался, жаловался, что «нутро болит». Его землистое лицо почернело еще более, и еще ярче загорелись впавшие глубже глаза... Кубики резать ему начал помогать Луговский.

Луговский сделался общим любимцем, героем казармы. Только Пашка, ненавидимый всеми, был его злейшим врагом. Он завидовал.

Было второе марта. Накануне роздали рабочим жалованье, и они, как и всегда, загуляли. После «получки» постоянно не работают два, а то и три дня. Получив жалованье, рабочие в тот же день отправляются в город закупать там себе белье, одежду, обувь и расходятся по трактирам и питейным, где пропивают все, попадают в часть и приводятся оттуда на другой день. Большая же часть уже и не покупает ничего, зная, что это бесполезно, а пропивает деньги, не выходя из казармы.

В этот день, вследствие холода, мало пошло народу на базар. Пили уже второй день дома. Дым коромыслом стоял: гармоники, пляска, песни, драка... целый ад... Внизу, в кухне, в шести местах играли в карты – в «три листа с подходцем».

На нарах, совершенно больной, ослабший, лежал Кавказский. Он жалованье не ходил получать и не ел ничего дня четыре. Похудел, осунулся – страшно смотреть на него было. Живой скелет. Да не пил на этот раз и Луговский, все время сидевший подле больного.

Было пять часов вечера. В верхнюю казарму ввалился, с гармоникой в руках, Пашка с двумя пьяными товарищами – билетными солдатами, старожилками завода. Пашка был трезвее других; он играл на гармонике, приплясывал, и все трое ревели «барыню».

– Будет вам, каторжные, дайте покой! – простонал больной кавказец, но те не унимались.

– Пашка, ори тише, видишь больной здесь! – возвысил голос Луговский, сразу, по-солдатски, привыкший к новому житью-бытью.

– А ты мне что за указчик, а? Ты думаешь, что ты барское отродье, так тебя и послушаюсь?!

– Во-первых, не барин я, а такой же рабочий, а во-вторых, – перестань горланить, говорю тебе...

– Как ты смеешь мне говорить, черт?! Ты знаешь, кто я? А? Или я еще не учил тебя? Хочешь?..

– Хочу и требую, чтобы ты перестал играть, а то я тебя силой заставлю...

– Меня силой?

– Да, тебя, силой! – раздраженно уже крикнул Луговский.

В казарме все смолкло... Бросили играть в карты, бросили шуметь. Взоры всех были устремлены на спорящих. Только двое товарищей Пашки шумели и подзуживали его.

Пашка выхватил откуда-то длинный нож и, как бешеный, прыгнул на нары, где был Луговский.

Вся казарма будто замерла. В этот момент никто не пошевелился. Так страшен был остервенившийся Пашка...

Некоторые опомнились, вскочили на помощь, но было уже поздно, помощь не требовалась. Страшный, душу раздирающий стон раздался на том месте, где сидел Луговский и лежал умирающий Кавказский. Стон этот помнят все, слышавшие его, – ему вторила вся казарма.

Крик испуга и боли вырвался одновременно из всех ртов этих дикарей.

Один из рабочих, человек бывалый, старик, по прозвищу Максим Заплата, бывший мясник, видевший эту сцену, рассказывал после об этом происшествии так:

– Как вскочит Пашка с полу, выхватил ножище да как бросится на барина – страшный

такой, как бык бешеный, который сорвется, коли его худо оглушат обухом, глаза-то кровью налились.

«Убью!» – кричит. Схватил он левой рукой барина за горло, а нож высоко таково поднял, и видел я сам, как со всего размаха засадил в барина. Закричал я – а встать не могу, и все побледнели, все, как я. Видят – а не могут встать. Известно, кто к Пашке каторжному подступится! Поди, на душе у его не один грех кровавый! Одно слово – сибиряк...

Как ударил он ножом, и слышим мы, кто-то застонал, да так, что теперь страшно... Не успели мы опомниться – глядим, Пашка лежит на земле, а на нем верхом барин сидит. Как уже это случилось, мы все глазам не поверили и не знаем... Только сидит на ём барин и скрутил руки ему за спину... Как это вышло – и теперь невдомек.

А вышло это вот как.

Пашка бросился на Луговского, левой рукой схватил его за грудь, а правой нанес ему страшный удар, смертельный. Но Луговский успел одной рукой оттолкнуть нож, который до рукоятки всадились в щель нар, где, изломанный пополам, и найден был после... Под правую же руку Луговского подвернулась левая рука Пашки, очутившаяся у него на груди, и ее-то, поймав за кисть, Луговский стиснул и из всей силы вывернул так, что Пашка с криком страшной боли повернулся и упал всю тяжестью своего гигантского тела на больного кавказца.

Он-то и застонал так ужасно...

Луговский, не выпуская руки Пашки, успел вскочить на ноги, левой рукой поймал его за ворот, сдернул с нар на пол и сидел на нем.

Все это произошло в один момент, казарма еще не успела опомниться... Товарищ Пашки наявлялся на гармонике «барыню».

– Доволен? – спросил лежавшего на полу Пашку Луговский.

– Бей его, разбойника! – крикнули все рабочие в один голос и вскочили с мест. Гармоника смолкла.

– На место, не ваше дело! – энергично, голосом, привыкшим командовать, крикнул Луговский.

– Не тронь, ребята, это наше дело с ним, другим не след путаться! Павел, вставай, я на тебя не сержусь, – спокойно произнес Луговский и встал с него.

– Ты виноват во всем, ты подзуживал Пашку сделать скандал. Из-за тебя драка, чуть не убийство вышло, – подойдя к игравшему на гармонике секретарю, проговорил Луговский, взмахнул рукой, и полновесная пощечина раздалась по казарме. Секретарь вместе с гармоникой слетел вниз по лестнице, в кухню...

Восторженно-дикие крики одобрения раздались с обеих этажей нар.

Луговский с этой минуты стал властелином, атаманом казармы.

Эти люди любят дикую силу...

И нельзя не любить силу, которая в их быту дает громадное преимущество, спасает.

А Пашка все еще лежал лицом вниз.

– Павел, вставай! – поднимая его за левую руку, сказал Луговский.

– Ой, не вороши, больно! – как-то приподнимаясь вслед за поднятой рукой, почти простонал тот и, опираясь на правую, сел на пол.

Страшен он был... За несколько минут перед тем красный от пьянства, он как-то осунулся, почернел, глаза, налитые кровью, смотрели ужасно – боль, стыд и непримиримая злоба сверкали в них...

Бледное, но разгоревшееся, на этот раз сияющее лицо Луговского с его смеющимися глазами было страшным контрастом.

– Паша, что с тобой?

– Ничего, руку ушиб, – с трудом поднявшись, ответил тот и, вставая, спустился вниз в кухню и ушел на двор.

Крикнули рабочих к ужину.

V

Прошел уж и лед на Волге. Два-три легких пароходика пробежали вверх и вниз... На пристанях загудела рабочая сила... Луга и деревья зазеленели, и под яркими, приветливыми лучами животворного солнца даже сам вечно мрачный завод как-то повеселел, хотя грязный двор с грудями еще не успевшего стаять снега около забора и закоптевшими зданиями все-таки производил неприятное впечатление на свежего человека... Завсегдатаям же завода и эта острожная весна была счастьем. Эти желтые, чахлые, суровые лица сияли порой...

В одно из этих весенних воскресений, в яркий полдень, кучка рабочих сидела и лежала на крыше курятника, на заднем дворе завода, и любовалась на Волгу. Между ними не было видно Луговского и Пашки. Внизу, рядом с курятником, на двух ящиках лежал покрытый рваной солдатской шинелью Кавказский и полуоткрытым тусклым взором смотрел на небо; он еще более похудел, лицо почернело совершенно, осунулось, нос как-то вытянулся, и длинные поседевшие усы еще более опустились вниз, на давно не бритую бороду. Он тяжело дышал и шевелил губами, будто хотел что-то сказать, но ни звука не слышно было из его почерневших, будто прилипших к зубам губ...

– Поди, теперь наш барин в Рыбну⁷ приехал, – прервал молчание старик Заплата.

– И дай ему, господи, хороший человек был, по работе на барина и не похож: кубик, бывало, в пять минут изрежет, либо дрова колоть начнет, так не успеешь оглянуться, сажень готова...

VI

– Нашел кого поминать, подлеца! – злобно сказал секретарь.

– Не любишь, видно, плюху помнишь?

– Плюху! Счастье его, что Пашка сбежал, а то бы ему такая плюха была, что своих бы не узнал, счастье, что уехал-то.

– Да, вырвался-таки на волю, только потому, что не пьянствовал, а то тоже бы нашей участи хватил.

– А что, ребятки, где в самом деле Пашка, я в больницу ушел, а когда вернулся, его уже не было, – спросил молодой сухощавый солдатик с болезненным лицом.

– Сбежал он, Карпуша! – продолжал Заплата.

– Из-за чего?

– Да из-за того, что квартальный приходил справляться: кто он такой есть.

– Паспорт фальшивым оказался, – вставил секретарь.

– Фальшивым?

– Да.

– Так кто же он был, этот самый Пашка? – обратился к секретарю Карпушка.

– Каторжник беглый, за убийство сосланный был, вот кто!

– Каторжник? А ты почему знаешь?

– Он мне раз пьяный открылся во всем.

– А ты на него квартальному донес, фискал! За трешницу товарища продал.

– Все равно он и без этого убежал бы, чего лаешься, коли не знаешь!

– Братцы! Подь-ка сюды кто-нибудь! – послышалось снизу.

– Никак Капказский зовет?

– Братцы, дайте испить!

– Сейчас, дядя, сейчас принесу! – ответил сверху Заплата, спустился вниз и через минуту стоял с полным ковшом у Кавказского.

– На, кушай на здоровье!

⁷ Рыбинск.

– Спасибо! – прохрипел тот в ответ и стал жадно пить... – Хорошо! – сказал он, роняя ковш на землю.

– Ну что, дядя, лучше тебе? – перегнувшись с крыши, спросил его Карпушка.

– Хорошо... вон солнышко светит, привольно... На Волгу бы хотелось, поработать бы, покрюшничать! Вот через недельку, бог даст, поправлюсь, в Рыбну поеду к моему барину, вместе работать будем...

– Да, в Рыбне теперь хорошо, народу сколько сошлось, работы дорогие! – задумчиво проговорил Заплата.

– Нет, на Капказе лучше, там весело, горы! Люблю я их! На будущее лето уеду в Владыкапкай, там у меня знакомые есть, место дадут... Беспременно уеду!.. – чуть слышно, но спокойно и медленно, с передышкой говорил кавказец...

– На Капказ? – спросил Карпушка.

– На Капказ! Я его весь пешком выходил; хотите, ребятки, я вам капказскую походную песенку спою, слушайте!

И он, собравшись с силами, запел надорванным голосом:

Гремит слава трубой,
Мы дрались за Лабой;
По горам твоим, Кавказ,
Уж гремит слава об нас...
Уж мы, горцы басурма...

Вдруг хрип прервал песню, – кавказец как-то судорожно вытянулся, закинул голову назад и вытянул руки по швам, как во фронте...

– Что это с ним, Заплата?..

– Что? То же, что и с нами будет, умер!

– Эх, братцы, какого человека этот свинец съел: ведь три года тому назад он не человек – сила был: лошадь одной рукой садиться заставлял, по три свинки⁸ в третий этаж носил!.. А все свинец копейкинский. Много он нашего брата заел, проклятый, да и еще заест!..

Заплата злобно погрозил кулаком по направлению к богатым палатам заводчика Копейкина:

– Погоди уж ты!

Один из многих

Было шесть часов вечера. Темные снеговые тучи низко висели над Москвой, порывистый ветер, поднимая облака сухого, леденистого снега, пронизывал до кости прохожих и глухо, тоскливо завывал на телеграфных проволоках.

Около богатого дома с зеркальными окнами, на одной из больших улиц, прячась в углубление железных ворот, стоял человек высокого роста...

– Подайте Христа ради... не ел... ночевать негде! – протягивая руку к прохожим, бормотал он...

Но никто не подал ни копейки, а некоторые обругали дармоедом и кинули замечание еще, что, мол, здоровяк, а работать ленится...

Это был один из тех неудачников, которые населяют ночлежные дома Хитрова рынка и других трущоб, попадая туда по воле обстоятельств.

Крестьянин одного из беднейших уездов Вологодской губернии, он отправился на

⁸ Свинка – четыре пуда свинца.

заработки в Москву, так как дома хлебушка и без его рта не хватит до нового.

В Москве долгое время добивался он какого ни на есть местишка, чтобы прохарчиться до весны, да ничего не вышло. Обошел фабрики, конторы, трактиры, просился в «кухонные мужики» – не берут, рекомендацию требуют, а в младшие дворники и того больше.

– Нешто с ветру по нонешнему времени взять можно? Вон, гляди, в газетах-то пропечатывают, что с фальшивыми паспортами беглые каторжники нарочно нанимаются, чтобы обокрасть! – сказали ему в одном из богатых купеческих домов.

– Разъ я такой? Отродясь худыми делами не занимался, вот и паспорт...

– Пашпортов-то много! Вон на Хитровом по полтине паспорт... И твой-то, может, оттуда, вон и печать-то слепая... Ступай с богом!

Три недели искал он места, но всюду или рекомендации требовали, или места заняты были... Ночевал в грязном, зловонном ночлежном притоне инженера-богача Ромейко, на Хитровке, платя по пятаку за ночь. Кроме черного хлеба, а иногда мятого картофеля-тушенки, он не ел ничего. Чаю и прежде не пивал, водки никогда в рот не брал. По утрам ежедневно выходил с толпой таких же бесприютных на площадь рынка и ждал, пока придут артельщики нанимать в поденщину. Но и тут за все время только один раз его взяли, во время метели, разгребать снег на рельсах конно-железной дороги. Полученная полтина была проедена в три дня. Затем опять тот же голод...

А ночлежный хозяин все требовал за квартиру, угрожая вытолкать его. Кто-то из ночлежников посоветовал ему продать довольно поношенный полушубок, единственное его достояние, уверяя, что найдется работа, будут деньги, а полушубков в Москве сколько хошь.

Он ужаснулся этой мысли...

– Как не так, продать? Свое родное и чужому продать? – рассуждал он, лежа на грязных нарах ночлежной квартиры и вспоминая все те мелкие обстоятельства, при которых сшит был полушубок... Вспомнил, как целых четыре года копил шкуры, закалывая овец, своих доморощенных, перед рождеством, и продавал мясо кабатчику; вспомнил он, как в Кубинском ему выдубили шкуры, как потом пришел бродячий портной Николка косой и целых две недели кормился у него в избе, спал на столе с своими кривыми ногами, пока полушубок не был справлен, и как потом на сходе долго бедняки-соседи завидовали, любуясь шубой, а кабатчик Федот Митрич обещал два ведра за шубу...

– Ты вот што: либо денег давай, либо духа чтоб твоего не было! – прервал размышления свирепый, опухлый от пьянства мужик, съемщик квартиры.

– Повремени, а, ты! Сколочусь деньжатами, отдам! Можя, местишко бог пошлет... – молил ночлежник.

– За тобой и так шесть гривен!

– Ведь паспорт мой у тебя в закладе.

– Паспорт! Что в нем?! За паспорт нашему брату достается... Сегодня или деньги, али заявлю в полицию, по этапу беспаспортного отправят... Уходи!

Несчастный скинул с плеч полушубок, бросил его на нары вверх шерстью, а сам начал перетягивать кушаком надетую под полушубком синюю крашенинную короткую поддевичку, изношенную донельзя.

Взгляд его случайно упал на мех полушубка.

– Это вот Машки-овцы шкурка... – вперяясь прослезившимися глазами в черную полу, бормотал про себя мужичок, – повадливая, рушная была... За хлебцем, бывало, к окошку прибежит... да как заблеет: бе-е... бе-е! – подражая голосу овцы, протянул он.

Громкий взрыв хохота прервал его.

Ночлежники хохотали и указывали пальцами:

– А мужик-то в козла обернулся!

– Полушубок-то блеет! – И тому подобные замечания посыпались со всех сторон. Он схватил полушубок и выбежал на площадь.

А там гомон стоял.

Под навесом среди площади, сделанным для защиты от дождя и снега, колыхался

народ, ищущий поденной работы, а между ним сновали «мартышки» и «стрелки». Под последним названием известны нищие, а «мартышками» зовут барышников. Эти – грабители бедняка-хитровака, обувающие, по местному выражению, «из сапог в лапти», скупают все, что имеет какую-либо ценность, меняют лучшее платье на худшее или дают «сменку до седьмого колена», а то и прямо обирают, чуть не насильно отнимая платье у неопытного продавца.

Пятеро «мартышек» стояло у лотков с съестными припасами. К ним-то и подошел, неся в руках полушубок, мужик.

– Эй, дядя, что за шубу? Сколько дать? – засыпали его барышники.

– Восемь бы рубликов надо... – нерешительно ответил тот.

– Восемь? А ты не валяй дурака-то... Толком говори. Пятерку дам.

– Восемь!

Шуба рассматривалась, тормошилась барышниками.

Наконец, сторговались на шести рублях. Рыжий барышник, сторговавший шубу, передал ее одному из своих товарищей, а сам полез в карман, делая вид, что ищет денег.

– Шесть рублей тебе?

– Шесть...

В это время товарищ рыжего пошел с шубой прочь и затерялся в толпе. Рыжий барышник начал разговаривать с другими...

– Что же, дядя, деньги-то давай! – обратился к нему мужик.

– Какие деньги! За что? Да ты никак спятил?

– Как за што? За шубу небось!

– Нешто я у тебя брал?

– А вон тот унес.

– Тот унес, с того и спрашивай, а ты ко мне лезешь? Базар велик... Вон он идет, видишь? Беги за ним.

– Как же так?! – оторопел мужик.

– Беги, черт сиволапый, лови его, поколя не ушел, а то шуба пропадет! – посоветовал другой барышник мужику, который бросился в толпу, но «мартышки» с шубой и след простыли... Рыжий барышник с товарищами направился в трактир спрыснуть успешное дельце.

Мужицкий полушубок пропал.

*

Прошло две недели. Квартирный хозяин во время сна отобрал у мужика сапоги в уплату за квартиру... Остальное платье променяно на лохмотья, и деньги проедены... Работы не находилось: на рынке слишком много нанимающихся и слишком мало нанимателей. С квартиры прогнали... Наконец, он пошел просить милостыню и два битых часа тщетно простоял, коченея от холода. К воротам то и дело подъезжали экипажи, и мимо проходила публика. Но никто ничего не подал.

– Господи, куда же мне теперь?..

Он машинально побрел во двор дома. Направо от ворот стояла дворницкая сторожка, окно которой приветливо светилось. «Погреться хоть», – решил он и, подойдя к двери, рванул за скобу. Что-то треснуло, и дверь отворилась. Сторожка была пуста, на столе стояла маленькая лампочка, пущенная в полсвета. Подле лампы лежал каравай хлеба, столовый нож, пустая чашка и ложка.

Безотчетно, голодный, прошел он к столу, протянул руку за хлебом, а другою взял нож, чтоб отрезать ломоть, в эту минуту вошел дворник...

Через два дня после этого в официальной газете появилась заметка под громким заглавием: «Взлом сторожки и арест разбойника».

«13 декабря, в девятом часу вечера, дворник дома Иванова, запасный рядовой Евграфов, заметил неизвестного человека, вошедшего на двор, и стал за ним следить. Неизвестный подошел к запертой на замок двери, после чего вошел в сторожку. Дворник смело последовал за ним, и в то время, когда оборванец начал взламывать сундук, где хранились деньги и вещи Евграфова, последний бросился на него. Оборванец, видя беду неминуемую, схватил со стола нож, с твердым намерением убить дворника, но был обезоружен, связан и доставлен в участок, где оказалось, что он ни постоянного места жительства, ни определенных замятий не имеет. При разбойнике нашелся паспорт, выданный из волости, по которому тот оказался крестьянином Вологодской губернии, Грязовецкого уезда, Никитой Ефремовым. Паспорт, по-видимому, фальшивый, так как печать сделана слишком дурно и неотчетливо. В грабеже, взломе и покушении на убийство дворника разбойник не сознался и был препровожден под усиленным конвоем в частный дом, где содержится под строгим караулом в секретной камере. Разбойник гигантского роста и атлетического телосложения, физиономия зверская. Дворник Евграфов представлен к награде».

Такое известие не редкость!

Его читали и ему верили...

Спирька

Это был двадцатилетний малый, высокого роста, без малейшего признака усов и бороды на скуластом, широком лице. Серые маленькие глаза его бегали из стороны в сторону, как у «вора на ярмарке».

В них и во всем лице было что-то напоминающее блудливого кота. Одевался Спирька во что бог пошлет. В первый раз – это было летом – я встретил его бегущего по Тверской с какими-то покупками в руке и папироской в зубах, которой он затягивался немилосердно. На нем была рваная, вылинявшая зеленая ситцевая рубаша и короткие, порыжелые, плисовые, необыкновенной ширины шаровары, достигавшие до колен; далее следовали голые ноги, а на них шлепавшие огромные резиновые калоши, связанные веревочкой. Шапки на голове у Спирьки не было. У меблированных комнат, где служил Спирька самоварщиком, его остановил швейцар:

– Спирька! Как тебе не стыдно так ходить? Ведь гостиницу срамишь!

– Что это? Чем-с?! Украл, что ли, я что? – отвечал тот, затягиваясь дымом.

– Кто говорит, украл! А ходишь-то в чем... Стыдно!

– Чего стыдно! Всяк знает, что я при месте нахожусь! Вот коли бы без места ходил этак, стыдно бы было, вот что! – И еще раз пыхнув папироской, Спирька в два прыжка очутился на верху лестницы.

Я жил в тех же номерах.

– Что это, у нас служит? – спросил я швейцара.

– У нас, Владимир Алексеич, самоварщиком; самый что ни на есть забулдыжный человек и пьяница распрегорчайший, пропащий!

– Зачем же держать такого?

– Сами изволите знать, хозяин-то какой аспид у нас – все на выгоды норовит, а Спирька-то ему в аккурат под кадрель пришелся – задарма живет. Ну и оба рады. Хозяин – что Спирька денег не берет, а Спирька – что он при месте! А то куда его такого возьмут, оголтелого. И честный хоть он и работающий, да насчет пьянства – слаб, одежки нет, ну и мается.

Я жил в одном номере с товарищем Григорьевым. Придя домой, я рассказал ему о Спирьке.

– Да, я его видал. Любопытный человек, он меня заинтересовал давно; способный, честный, но пьяница.

Этим разговор о Спирьке и кончился. Потом я его несколько раз встречал в коридоре и

на улице.

Как-то пришлось мне уехать на несколько дней из Москвы. Когда я возвратился, мой товарищ сказал мне:

– А у нас, Володя, семейства прибавилось.

– Что такое?

– Спирьку я к себе в лакеи взял.

– Ну?! – удивился я.

– Да, верно; третьего дня его хозяин прогнал, идти человеку некуда, ну я его и взял. Славный малый, исполнительный, честный.

В это время дверь отворилась, и с покупками в руках явился Спирька. Положив покупки и сдачу с десятирублевой ассигнации, он поздоровался со мной.

– Здравствуйте, барин, – рикамендуюсь вам, что мы теперь у вас в услужении будем.

– Рад за тебя, служи.

– Нет, вы, барин, на меня поглядите-сь, каким я теперь – хоть сейчас под венец, – обратился ко мне Спирька, охорашиваясь и поправляя полы спереди узкого, короткого сюртука.

– Барин подарил-с, – сказал он.

Действительно, Спирьку нельзя было узнать. На нем была поношенная, но чистенькая триковая пара и порядочные, вычищенные до блеска сапоги. Он был умыт, причесан, и лицо его сияло.

– Эх, то есть вот как теперь меня благодетельствовали, что всю жизнь свою не забуду, по гроб слугой буду, то есть хоть в воду головой за вас... Ведь я сроду таким господином не был. Вот родители-то полюбовались бы...

– Ну и покажись им, – сказал я.

– Это родителям-то-с? Да у меня их никогда и не бывало; я ведь из шпитонцев взят прямо.

– Как не бывало?

– Мы шпитонцы; из ошпитательного дома... бог его знает, кто у меня родитель – може, граф, може, князь, а може, и наш брат Исакий!

– Ну, последнее вернее, – сказал мой товарищ, глядя на лицо Спирьки.

Стал у нас Спирька служить. Жалованье ему положили пять рублей в месяц.

Два месяца Спирька живет – не пьет ни капли. Белье кой-какое себе завел, сундук купил, в сундук зеркальце положил, щетки сапожные... С виду приличен стал, исполнитель и предупредителен до мелочей. Утром – все убрано в комнате, булки принесены, стол накрыт, самовар готов; сапоги, вычищенные «под спиртовой лак», по его выражению, стоят у кроватей, на платье ни пылинки.

Разбудит нас, подаст умыться и во все время чаю стоит у притолоки, сияющий, веселый.

– Ну что, Спиридон, как дела? – спросишь его.

– Слава тебе господи, с бродяжного положения на барские права перешел! – ответит он, оглядывая свой костюм.

– А выпить хочется тебе?

– Нет, барин, шабаш! Было попито, больше не буду, вот тебе бог, не буду! Все эти прежние художества побоку... Зарок дал – к водке и не подходить: будет, помучился век-то свой! Будет в помойной яме курам да собакам чай собирать!

– Так не будешь?

– Вот-те крест, не буду.

Спустя около месяца после этого разговора Спирька является к моему сотоварищу и говорит ему:

– Петр Григорыч, дайте мне четыре рубля, жисть решается!

– Как так?

– Невесту на четыре рубля сосватал! С приданым, и все у нее как следно быть, в

настоящем виде.

– Что ты?

– Будь сейчас четыре рубля, и жена готова!

– На что же четыре рубля?

– Свахе угощение, и ей тоже надо. Сделайте милость, будьте, барин, отец родной, составьте полное удовольствие, чтобы жениться – остепениться!

Ему дали четыре рубля. Это было в три часа дня, Спиридон разделся в чистую сорочку, в голубой галстук, наваксил сапоги и отправился.

На другой день Спирька не являлся. Вечером, когда я вместе с Григорьевым возвратился домой после спектакля, Спирька спал на диване в своих широчайших шароварах и зеленой рубахе. Под глазом виднелся громадный фонарь, лицо было исцарапано, опухло. Следы страшной оргии были ясно видны на нем.

– Вот так женился! – сказал Григорьев, рассматривая лежавшего.

– Да, с приданым жену взял!

Спирька, услышав разговор, поднял голову, быстро опомнился, вскочил и пошел в переднюю, не сказав ни слова.

– Спиридон! – громко окликнул его Григорьев, едва сдерживаясь от смеха.

– Чего изволите? – прохрипел тот в ответ, останавливаясь у двери и жмурясь.

– Что с тобой? А?

– Загуляли, барин! – Спирька махнул энергично правой рукой.

– А свадьба когда?

– Не будет! – пресерьезно ответил он и скрылся за дверями.

Григорьев решил его еще раз одеть и не прогонять.

– Авось исправится, человеком будет! – рассуждал он.

Однако слова его не оправдались. Запил Спирька горькую. Денег нет – ходит печальный, грустный, тоскует, – смотреть жаль. Дашь ему пятак – выпьет, повеселеет, а потом опять. Видеть водки хладнокровно не мог. Платье дашь – пропьет.

Наконец, Григорьев прогнал его. После, глубокой осенью, в дождь и холод, я опять встретил его, пьяного, в неизменных шароварах, зеленой рубахе и резиновых калошах. Он шел в кабак, пошатывался и что-то распевал веселое...

Балаган

Ханов более двадцати лет служит по провинциальным сценам.

Он начал свою сценическую деятельность у знаменитого в свое время антрепренера Смирнова и с бродячей труппой, в сорокаградусные морозы путешествовал из города в город на розвальнях. Играл он тогда драматических любовников и получал двадцать пять рублей в месяц при хозяйской квартире и столе. Квартирой ему служила уборная в театре, где в холодные зимы он спал, завернувшись в море или в небо, положивши воздух или лес под голову. Утром он разворачивался, катаясь по сцене, вылезал из декорации весь белый от клеевой краски и долго чистился.

Лет через десять из Ханова выработался недюжинный актер. Он женился на молодой актрисе, пошли дети. К этому времени положение актеров сильно изменилось к лучшему. Вместо прежних бродячих трупп, полуголодных, полураздетых, вместо антрепренеров-эксплуататоров, игравших в деревянных сараях, явились антрепренеры-помещики, получавшие выкупные с крестьян. Они выстроили в городах роскошные театры и наперебой стали приглашать актеров, платя им безумные деньги.

Пятьсот и шестьсот рублей в месяц в то время были не редкость.

Но блаженные времена скоро миновали. Помещичьи суммы иссякли. Антрепренерами явились актеры-скопидомы, сумевшие сберечь кой-какие капиталы из полученных от помещиков жалований.

Они сами начали снимать театры, сами играли главные роли и сильно сбавили оклады.

Время шло. Избалованная публика, привыкшая к богатой обстановке пьес при помещиках-антрепренерах, меньше и меньше посещала театры, а общее безденежье, тугие торговые дела и неурожай довершили падение театров. Дело начало падать. Начались неплатежи актерам, между последними появились аферисты, без гроша снимавшие театры; к довершению всех бед великим постом запретили играть.

В один из подобных неудачных сезонов в городе, где служил Ханов, после рождества антрепренер сбежал. Труппа осталась без гроша. Ханов на последние деньги, вырученные за заложенные подарки от публики, с женой и детьми добрался до Москвы и остановился в дешевых меблированных комнатах.

Продолжая закладываться, кое-как впроголодь, он добился до масленицы. В это время дети расхворались, жена тоже простудилась в сыром номере. А места все не было, и в перспективе грозил голодный пост.

– И зачем это я русский, а не немец, не француз какой-нибудь! – восклицал за рюмкой водки перед своими товарищами Ханов.

– Да, вот иностранцам скабрезные шансонетки можно петь, а нам, толкователям Гоголя и Грибоедова, приходится под заграничные песни голодом сидеть...

– И сидишь, и жена и дети сидят, а заработки никакой... Пойду завтра дрова колоть наниматься...

– Зачем дрова! Еще в балагане можно заработать, – заметил комик Костин, поглаживая свою лысинку.

– В балагане? – удивился Ханов.

– Ну да, в балагане под Девичьим...

– Стыдно, брат, в балагане...

– Стыдно? Дурак! Да мы на эшафоте играли!

– Что-о? – протянул сквозь зубы столичный актер Вязигин, бывший сослуживец и соперник Ханова по провинциальным сценам, где они были на одних ролях и где публика больше любила Ханова.

– На эшафоте, говорю, играли... Приехали мы в Кирсанов. Ярмарка, все сараи заняты, играть негде. Гляжу я – на площади эшафот стоит: преступников накануне вывозили.

– Ну и...

– Ну и к исправнику сейчас. Так, мол, и так, вашскородие, уступите эшафот на недельку, без нужды стоит. Уступил, всего по четыре с полтиной за помещение в вечер взял, и дело сделали, и «Аскольдову могилу» ставили.

– Эт-то на эш-шаф-фоте? – ломался Вязигин.

– На эшафоте...

– Странно...

– Ей-богу, брат Ханов, не брезгай балаганом... – советовал Костин.

– Па-слушайте, Ханов, я тоже советую; там, батенька мой, знаменитости играли, да-с...

– Я согласен, господа, как бы ни заработать честным трудом... но как попасть туда?

– А, пустяки... Я карточку дам Обиралову, содержателю балагана... Он мой... да... ну, я знаю его.

– Спасибо, Вязигин, я пойду...

– За здоровье балаганных актеров! – крикнул Ханов, поднимая рюмку.

– Костин, вечно ты балаганишь! – как-то странно, сквозь зубы процедил Вязигин...

*

Был холодный, вьюжный день. Кутаясь в пальто и нахлобучив чуть не на уши старомодный цилиндр, Ханов бодро шагал к Девичьему полю.

Он то скользил по обледенелому тротуару, то чуть не до колена вязнул в хребтах снега, навитых ветром около заборов и на перекрестках; порывистый ветер, с силой вырывавшийся

из-за каждого угла, на каждом перекрестке, врезывался в скважины поношенного пальто, ледяной змеей вползал в рукава и чуть не сшибал с ног. Ханов голой рукой попеременно пожимал уши, грел руки в холодных рукавах и сердился на крахмаленные рукава рубашки, мешавшие просунуть как следует руку в рукав.

Вот, наконец, и Девичье поле, занесенное глубоким снегом, тучами крутящимся над сугробом.

Посередине поля плотники наскоро сшивали дощатый балаган. Около него стоял пожилой человек, в собольей шубе, окруженный толпой полураздетых, небритых субъектов и нарумяненных женщин, дрожавших от холода.

Он отбивался от них.

– Да не надо, говорят, не надо, у меня трупка полна.

– Иван Иванович, да меня возьмите хоть, ведь я три года у вас Илью Муромца представлял, – приставал высокий, плотный субъект с одутловатым лицом.

– Ты только дерешься, да пьянствуешь, да ругаешься неприлично на сцене, и так чуть к мировому из-за тебя не попал, а еще чиновник. Не надо, не надо.

– Иван Иванович, нас-то вы возьмите, Христа ради, ведь есть нечего, – упрашивали окружающие.

– Не надо.

Ханов приосанился, принял горделивую позу, приподнял слегка цилиндр и спросил:

– Иван Иванович Обиралов – вы?

– Я, что угодно?

– Вязигин просил вам передать.

Тот взял визитную карточку, прочитал и подал руку Ханову.

– Очень приятно-с... От Вязигина? Мой приятель... Дела делали... пожалуйста в трактир-с!

– Иван Иванович, как же, возьмете? – упрашивала толпа.

– Да ну, ступайте, что пристали? Сказал – не надо, некогда... Пойдемте-с, – и они с Хановым пошли.

Толпа направилась следом.

Ханов слышал, как про него говорили: «должно, наниматься», «актер», «куда ему, жидок», «не выдержит», «видали мы таких».

*

Народные гулянья начались. Девичье поле запестрело каруселями, палатками с игрушками, дешевыми лакомствами.

Посередине в ряд выросла целая фаланга высоких, длинных дощатых балаганов с ужасающими вывесками: на одной громадный удав пожирал оленя, на другой негры-людоеды завтракали толстым европейцем в клетчатых брюках, на третьей какой-то богатырь гигантским мечом отсекал сотни голов у мирно стоявших черкесов. Богатырь был изображен на белом коне. Внизу красовалась подпись: «Еруслан богатырь и Людмила прекрасная».

«Это, должно быть, я!» – взглянув на рыцаря, улыбнулся Ханов, подходя к балагану.

Около кассы, состоящей из столика и шкатулки, сидела толстая баба в лисьем салопе и дорогой шали.

– Это балаган Обиралова? – обратился к ней Ханов.

– Балаганы с петрушкой, а это киятры!.. Это наши киятры... А вам чево?

– Я актер Ханов, я играю сегодня.

– Тьфу! а я думала, с человеком разговариваю! Балаган тоже!

«Хорошенькая встреча», – подумал Ханов и поднялся четыре ступеньки на сцену.

По сцене, с изящным хлыстом в руке и в щегольской лисьей венгерке, бегал Обиралов

и ругал рабочих. Он наткнулся на входившего Ханова.

– Так нельзя-с! Так не делают у нас... Вы опоздали к началу, а из-за вас тут беспокойся. Пошел-те в уборную, да живо одеваться! – залпом выпалил Обиралов, продолжая ходить.

Ханов хотел ответить дерзостью, но что-то вспомнил и пошел далее.

– В одевальню? сюда пожалте... – указал ему рабочий на дверь.

Ханов поднял грязный войлок, которым был завешан вход под сцену, и начал спускаться вниз по лесенке.

Под сценой было забранное из досок стойло, на гвоздях висели разные костюмы, у входа сидели солдаты, которым, поплеывая себе на руки, малый в казинетовом пиджаке мазал руки и лицо голландской сажей. Далее несколько женщин белились свинцовыми белилами и подводили себе глаза. Несколько человек, уже вполне одетые в измятые боярские костюмы, грелись у чугуна с угольями. Вспыхивавшие синие языки пламени мельком освещали нагримированные лица, казавшиеся при этом освещении лицами трупов.

Ханов оделся также в парчовый костюм, более богатый, чем у других, и прицепил фельдфебельскую шашку, справлявшую должность «меча-кладенца».

Напудрив лицо и мазнув раза два заячьей лапкой с суриком по щекам, Ханов вышел на сцену.

По сцене важно разгуливал, нося на левой руке бороду, волшебник Черномор. Его изображал тринадцатилетний горбатый мальчик, сын сапожника-пьяницы. На кресле сидела симпатичная молодая блондинка в шелковом сарафане с открытыми руками и стучала от холода зубами. Около нее стояла сухощавая, в коричневом платье, повязанная черным платком старуха, заметно под хмельком, что-то доказывала молодой жестами.

– Мама, щец хоть принеси... Свари же...

– Щец! Щец!.. Дура!.. Деньги да богатство к тебе сами лезли... Матери родной пожалеть не хотите... Щец!

– Мама, оставьте этот разговор... Не надо мне ничего, лучше голодать буду.

В публике слышался глухой шум и аплодисменты. Обиралов подошел к занавесу, посмотрел в дырочку на публику, пощелкал ногтем большого пальца по полотну занавеса и крикнул: «Играйте!»

Плохой военный оркестр загремел. У входа в балаган послышались возгласы:

– К началу-у-у, начинаем, сейчас начнем!

Наконец, оркестр кончил, и занавес, скрипя и стуча, поднялся.

Началось представление.

Публика, подняв воротники шуб, смотрела на полураздетых актеров, на пляшущих в одних рубашонках детей и кричала после каждого акта «бис».

В первый день пьеса была сыграна двадцать три раза.

К последнему разу Черномор напился до бесчувствия; его положили на земляной пол уборной и играли без Черномора.

После представления Ханов явился домой веселый и рассказал жене о своем дебюте. Оба много смеялись.

На следующий и на третий день он играл в надежде на скорую получку денег и не стеснялся. Публика была самая безобидная: дети с няньками в ложах и первых рядах и чернорабочие на «галдарее». Последние любили сильные возгласы и резкие жесты, и Ханов старался играть для них. Они были счастливы и принимали Ханова аплодисментами.

Аплодисмент балагана – тоже аплодисмент.

Ханов старался для этой безобидной публики и, пожалуй, в те минуты был счастлив знакомым ему счастьем.

Он знал, что доставляет удовольствие публике, и не разбирал, какая это публика.

Дети и первые ряды аплодировали Людмиле. Они видели ее свежую красоту и симпатизировали ей.

Симпатия выражалась аплодисментами.

В субботу на масленой особенно принимали Людмилу. Она была лучше, чем в прежние

дни. У ней как-то особенно блестели глаза и движения были лихорадочны. Иногда с ней бывало что-то странное: выходя из-за кулис, Людмила должна была пройти через всю сцену и сесть на золоченый картонный трон. Людмила выходила, нетвердыми шагами шла к трону, притом вдруг останавливалась или садилась на другой попутный стул, хваталась руками за голову, и, будто проснувшись от глубокого сна, сверкала блестящими, большими голубыми глазами и шла к своему трону. Это ужасно к ней шло. Она была прекрасна, и публика ценила это.

Ей аплодировали и удивлялись.

В три часа дня играли «Еруслана» в пятнадцатый раз. Публика переполнила балаган.

– К началу! К началу! – неистово орал швейцар в ливрее с собачьим воротником, с медным околышем на шляпе.

Появление Людмилы встретили аплодисментами. Она вышла еще красивее, глаза ее были еще больше, еще ярче блестели.

Но на этот раз она не дошла до трона. Выйдя из-за кулис, она сделала несколько шагов к огню передней рампы, потом, при громе аплодисментов, повернула назад и, будто на стул, села на пол посередине пустой сцены.

– Bravo! Bravo! Бис! – загоготала публика, принявшая эту сцену за клоунский фарс.

Явился антрепренер, опустил занавес, и Людмилу унесли вниз, в уборную, и положили на земляной пол. «Простудилась», – сказал кто-то. Публика неистовствовала и вызывала ее.

Акт не был кончен. Начали ставить вторую картину, а роль Людмилы отдали какой-то набеленной, дебелий полудеве.

Подняли занавес. Ханов вышел с фельдфебельской саблей в руках и, помахивая ею, начал монолог:

– «О поле, поле, кто тебя усеял повсюду мертвыми костями!»

– А кости где? – кто-то протяжно, ломая слова, сказал в публике.

Ханов невольно оглянулся. В первом ряду сидели четыре бритые, актерские физиономии, кутаясь в меховые воротники. Он узнал Вязигина и Сумского, актера казенных театров.

– Bravo, bravo, Ханов! – с насмешкой хлопнули они в ладоши. Задняя публика, услышав аплодисменты первых рядов, неистово захлопала и заорала: «Bravo, bis!»

– Баррр-банщика! – проревел какой-то пьяный, покрывший шум толпы бас.

Ханов ничего не слышал. Он хотел бежать со сцены и уже повернулся, но перед его глазами встал сырой, холодный, с коричневыми, мохнатыми от плесени пятнами по стенам номер, кровать детей и две белокурые головки.

Ханов энергично повернулся к картонной голове, вращавшей в углу сцены красными глазами, и начал свой монолог:

– «Послушай, голова пустая, я еду, еду не свищу, а как наеду – не спущу и поражу копьём тебя – я!» – замахиваясь саблей, декламировал он дрожащим голосом.

– Это не копьё, а полицейская селедка! – громко, насмешливым тоном крикнул Вязигин.

Ханов вздрогнул и умоляюще посмотрел на говорившего.

Он увидел торжествующий злобный взгляд и гадкую усмешку на тонких, иезуитских губах Вязигина.

– Bravo, Ханов, bravo! – зааплодировал Вязигин, а за ним его сосед и публика.

Ханов затрясся весь. «А жена, а дети?» – мелькнуло у него в голове. Затем опять перед глазами его Вязигин гадко улыбался, и Ханов, не помня себя, крикнул:

– Подлец! – и бросился бежать со сцены.

Публика, опять приняв поступок Ханова за входившего в роль Руслана, аплодировала неистово.

Ханов вбежал в уборную и остановился у входа.

Посередине пола, на голой земле, лежала Людмила, разметав руки. Глаза ее то полужакрывались, то широко открывались и смотрели в одну точку на потолок. Подле нее

сидела ее пьяная мать, стояла водка и дымился завернутый в тряпку картофель.

Мать чистила картофелину.

«Я не хочу... не хочу, мама... не надо мне ваших бриллиантов... золота... мы там играть будем... коленкору на фартук... вот хороший веночек... мой веночек...» – металась и твердила в бреду Людмила.

– Что с ней? – спросил у матери Ханов.

– Сама виновата... Сама. Говорила я... А теперь картошку ешь!

– А, обе пьяные! – крикнул Ханов и начал раздеваться. Старуха вскочила со своего места и набросилась на Ханова.

– Как вы смееетесь?.. Я сама актриса... Я Ланская... слышали?! Вы смееетесь? Я пьяная, я старая пьяница... А она, моя Катя... Ах, говорила я ей, говорила... Лучше бы было!

И старуха с рыданиями упала на грудь дочери.

Та лежала по-прежнему и бредила.

Слышались слова: веночек, букет, Офелия...

Ханов подошел и положил руку на мраморный, античный лоб Людмилы. Голова была как огонь. Жилы на висках бились.

– Тиф с ней, горячка, а вы – пьяная! – всхлипывала мать.

А сверху доносились звуки военного оркестра, наигрывавшего «Камаринского», и кто-то орал под музыку:

Там кума его калачики пекла,
Баба добрая, здоровая была!..

Колесов

I

Почтовый поезд из Рязани уже подходил к Москве. В одном из вагонов третьего класса сидел молодой человек, немного выше среднего роста, одетый в теплое пальто с бобровым воротником. Рядом с ним лежал небольшой чемоданчик и одеяло. Этот пассажир был Александр Иванович Колесов, служивший в одной из купеческих контор на юге чем-то вроде бухгалтера. Контора разорилась, и Колесов, оставшийся без места, отправился в Москву искать счастья. Деньги, заслуженные им в продолжение пятилетней службы, так и пропали. Продав кой-что лишнее из носильного платья, он отправился. Родственников у него нигде не было. Отец и мать, бедные воронежские мещане, давно умерли, а более никого не было нигде.

Какие мысли роились в голове его!.. Какие планы строил он!..

«Вот, – думал Колесов, – приеду в Москву. Устроюсь где-нибудь в конторе, рублей на пятьдесят в месяц. Года два прослужу, дадут больше... Там, бог даст, найду себе по сердцу какую-нибудь небогатую девушку, женюсь на ней, и заживем... И чего не жить! Человек я смирный, работающий, вина в рот не беру... Только бы найти место, и я счастлив... А Москва велика, люди нужны... Я человек знающий, рекомендация от хозяина есть, значит, и думать нечего».

Раздался последний свисток, пассажиры зашевелились, начали собирать вещи, и через минуту поезд уже остановился. Колесов вышел из вагона на платформу. Его тотчас окружили «вызывалы» из мелких гостиниц и дурных номеров, насильно таща каждый к себе. Один прямо вырвал из рук Колесова его чемодан.

– Пожалуйста-с к нам остановиться, сударь, номера почти рядом, дешевые-с, от полтинника-с! Пожалуйста-с за мною...

– Пожалуй, пойдем, если только номера приличные; где ни остановиться, мне все равно.

– Приличные-с, будьте благонадежны, можно сказать, роскошные номера за эту цену, пожалуйста! И близко-с, даже извозчик не требуется.

Через несколько минут чичероне заявил, указывая на меблированные комнаты:

– Здесь!

– А улица какая?

– Самая спокойная в Москве-с, Дьяковка прозывается.

В полтинник номеров не оказалось, пришлось занять в рубль.

– Самоварчик-с? – предложил юркий, с плутовскими глазами коридорный.

Колесов приказал самовар.

– Документик теперь прикажете получить?

Документ был отдан.

– Из провинции изволили прибыть в белокаменную?

– Да, из Воронежа.

– По коммерции-с?

– Нет, места искать!

И Колесов рассказал коридорному причину, заставившую его прибыть в Москву.

– Те-кс! – протянул служитель и, вынув из кармана серебряные часы, посмотрел на них, потом послушал.

– Остановились! А на ваших сколько-с?

Колесов вынул золотые недорогие часы.

– Ровно десять.

– Так-с! А что намерены делать сегодня?

– Отдохну с полчаса, а потом куда-нибудь пройду, Москвой полюбуюсь.

– Доброе дело-с!

Коридорный скрылся, а Колесов, напившись чаю, оделся, запер дверь, ключ от номера взял с собой и пошел по Москве. Побывал в Кремле, проехался по интересовавшей его конке и, не зная Москвы, пообедал в каком-то скверном трактире на Сретенке, где содрали с него втридорога, а затем пешком отправился домой, спрашивая каждого дворника, как пройти на Дьяковку.

*

Трактир низшего разбора был переполнен посетителями. В отдельной комнатке, за стенкой которой гремел, свистя и пыхтя, как паровик, расстроенный оркестрион, сидели за столом две женщины; одной, по-видимому еврейке, на вид было лет за пятьдесят. Другая была еще молоденькая девушка, строгая блондинка, с роскошной косой и с карими, глубокими глазами – Гретхен, да и только. Но если попристальнее взглядеться в эту Гретхен, что-то недоброе просвечивало в ее глазах, и ее роскошная белизна лица с легким румянцем оказывалась искусственно наведенной. Обе были одеты безукоризненно. На руках молодой сверкали браслеты и кольца. На столе перед ними стояла полбутылка коньяку и сахар с лимоном.

– Да! Сенька все дело испортил своим дурацким кашлем! – говорила блондинка.

– Испортил? Как же?

– Да так: сидели мы во втором классе. Подходящего сюжета не было. Вдруг в Клину ввалился толстый-претолстый купчина, порядком выпивши. Сенька сел с ним рядом, тут я подошла. Толстяк был пьян и, как только сел, начал храпеть, отвалившись на стенку дивана. Сенька мне мигнул, мы поменялись местами, я села рядом с купчиной, а Сенька, чтоб скрыть работу от публики, заслонил купца и полез будто бы за вещами на полочку, а я тем временем в *ширмоху за лопатошником* ⁹... В эту самую минуту Сенька и закашлялся. *Мощи* ¹⁰

⁹ В карман за бумажником.

проснулись, и не выгорело! Из-за дурацкого кашля напрасно вся работа пропала.

– Стоит с Сенькой ездить! То ли дело Лейба!

– Лейба? Толст очень, ожирел, да и работой нечист! На выставке и то попался из-за красненькой!

Блондинка замолчала, налила по рюмке коньяку, выпила и заговорила:

– Выручи, Марья Дмитриевна, сделай милость, дай рубликов пятьдесят, работы никакой, ехать в дорогу не с кем, с Сенькой поругалась, поляк сгорел¹¹. Милька...

– Здесь работай!

– Работы никакой. Сашка номерной давеча мигал что-то из двери, когда мы ехали, – да напрасно, кажись!

– Не напрасно-с, Александра Кирилловна, дело есть!

– Сашка, легок на помине! – воскликнули обе.

– Как черт на овине, – раскланиваясь, проговорил знакомый уже нам коридорный, прислуживавший Колесову.

– У вас? – заговорила блондинка.

– У нас! Попотчуйте коньячком-то!

– Пей! – Еврейка налила ему рюмку, которую он и проглотил.

– Богатый?

– На катеньку есть.

– Мелочь! А впрочем, на голодный зуб и то годится.

– Так идет? – спросила еврейка.

– Так точно-с! – ответил Сашка. – Четвертную им, четвертную мне, четвертную хозяину и четвертную за хлопоты...

– За какие хлопоты? – полюбопытствовала еврейка.

– А когда за работу? – спросила Сашку блондинка, не отвечая на вопрос соседки.

– Сегодня, сиди здесь пока, а потом я забегу и скажу, что делать. Затем прощайте, скоро буду!

Сашка пожал руки обеим женщинам и ушел.

Колесов явился домой через полчаса после того, как коридорный Сашка возвратился из трактира. Он потребовал самовар, а за чаем Сашка предложил ему познакомиться с некоторой молодой особой, крайне интересной, на что тот согласился, и через самое короткое время известная читателю блондинка уже была в гостях у Колесова, которого она успела положительно очаровать. К двенадцати часам ночи Колесов, одурманенный пивом, настоящим на окурках сигар, так часто употребляемым в разных трущобах для приведения в бесчувствие жертв, лежал на кровати одетый, погружаясь в глубокий искусственный сон, навеянный дурманом...

– Барин, а барин! Вставать пора! Барин! Двенадцатый час!.. – кричал поутру коридорный, стуча в дверь номера, где спал Колесов. Но тот не откликался.

Колесов проснулся поздно.

*

«Посмотрим, который теперь час!» – подумал Колесов, ища в кармане жилета часы и не находя их...

«Не украла ли их вчерашняя гостья?» – мелькнуло у него в уме. Он инстинктивно

¹⁰ Спящий пассажир.

¹¹ Арестован.

схватился за бумажник, раскрыл его: денег не было ни копейки.

– Коридорный, коридорный! – закричал он, отворяя дверь.

– Самоварчик? Сию минуту, подаю-с! – ответил Сашка, являясь в номер Колесова.

– Обокрали! Слышишь! Обокрали меня! Деньги, часы... Что мне делать? Ведь это мое последнее достояние! – со слезами на глазах умолял Колесов.

– Кого обокрали, помилуйте?

– Меня, меня! бумажник, часы...

– Где-с?

– Здесь, ночью...

– Это гостя ваша, наверно. Никто и не видал, когда она ушла...

– Кто же она, пошлите за полицией, задержать ее! Ведь ты рекомендовал! – метался Колесов.

– Меня и не изволите мешать! Рекомендовал! Приведете там, да на служащих валить! Ишь ты, за полицией... Вы и номеров не извольте срамить!.. А лучше убирайтесь отсюда подобру-поздорову, пока целы, – дерзко ответил коридорный и хлопнул дверью...

II

В знакомом же нам трактире, только в черной половине его, сидел небритый, грязный субъект. Было семь часов вечера.

В это время в трактир вошел Колесов, с чемоданом в руке, и поместился за одним из соседних столиков.

«Ага, приезжий! Попросить разве на ночлег», – мелькнуло в голове субъекта. Он подошел к столу, который занял Колесов.

– Позвольте к вам на минутку присесть! – обратился он к Колесову.

– О, с удовольствием, рад буду! – ответил последний.

Подали чай, за которым Колесов рассказал субъекту свое горе, как его обокрали и как, наконец, попросили удалиться из номеров.

– Денег ни гроша, квартиры нет, – жаловался Колесов.

– Устроим, не беспокойтесь! Только деньжонок рубля три надо!

– Нет у меня. Чемодан бы заложить, да вещишки кой-какие там. Кольцо было материно, рублей сорок стоило, и то украли.

Через несколько времени стараниями субъекта чемодан был заложен за три рубля, и Колесов уже сидел в одном из трактиров на Грачевке, куда завел его субъект, показывавший различные московские трущобы.

– Ну что же, ведите меня спать! – упрашивал его Колесов.

– Спать? Какой там сон, пойдем еще погуляем. Водочки выпьем, закусим.

– Я не пью ничего, кроме пива, – да и пиво у вас какое-то гадкое.

– Спросим настоящего. Хочешь, с приятелями познакомлю, вон видишь, в углу за бутылкой сидят!

Колесов посмотрел, куда указывал ему его товарищ.

В углу, за столом, сидели три человека, одетые – двое в пальто, сильно поношенные, а третий в серую поддевку. Один, одетый в коричневое пальто, был гигантского роста. Он пил водку чайным стаканом и говорил что-то своим собеседникам.

– Кто это такие?

– Славные люди, промышленники. Посиди, а я к ним схожу, надо повидаться! – шепнул субъект и быстро подошел к столу, за которым сидели трое. С каждым из них он поздоровался за руку, как старый приятель, и начал что-то говорить им, наклонившись к столу, так тихо, что слова лишь изредка долетали до Колесова. Громче всех говорил гигант. Можно было расслышать у него: «еще не обсосан», «шкура теплая» и «шланбой». Во время разговора трое посмотрели на Колесова, но поодиночке каждый, будто не нарочно. Колесов сам не обращал внимания на них; он сидел, облокотившись одной рукой на стол, и

безотчетно смотрел в пространство. Глаза его были полны слез. Он ничего не слышал, ничего не видел вокруг себя.

– Не вешай голову, не печаль хозяина! – вдруг раздался над ухом у него громовой бас, и чья-то тяжелая, как свинец, рука опустилась на него. Колесов встрепенулся. Подле него стоял гигант и смотрел ему в глаза.

– Что вам угодно? Я не знаю вас! – проговорил испуганный Колесов.

– А мы вас знаем; слышали о том, как вас обработали, и горю вашему помочь возьмемся.

– Горю помочь? Да неужели? Деньги отдадите, часы?

– Часы и деньги – все достанем, только за труды красненький билет будет да на расход красненький, и все возвратим.

– Как же это?

– Да так: знаем, кто у вас украл, слышали и предоставим.

– Голубчик! как вас и благодарить!

– Не меня, вашего приятеля благодарите, – проговорил гигант, указывая на субъекта, распивавшего водку за другим столом.

– А вы сами кто?

– Приказчик; а девчонка, которая была у вас вчера, живет со мной в одном доме, так я подслушал разговор. Ну, так идет?

– Век буду благодарен! Только выручите!

– Выручим, ну, пойдем сейчас, золотое время терять нечего.

Гигант кивнул своей компании. Колесов расплатился, и все гурьбой вышли из трактира.

Погода была мерзкая. Сырой снег, разносимый холодным резким ветром, слепил глаза. Фонарики издавали бледно-желтый свет, который еле освещал на небольшое пространство сырую туманную мглу.

– Ну-с, господин почтенный, выручить мы вас выручим, и ваша пропажа найдется, и не дальше как сегодня же, только для этого нужно первым делом десять рублей денег, – обратился гигант к Колесову, когда они вышли на улицу.

– Денег у меня только полтора рубля! – ответил тот.

– Нужно десять, и ни гроша менее. Да не беспокойтесь, мы вас не обманем, ваших денег в руки не возьмем, сами расплачиваться будете.

– Нету у меня.

– А без денег ничего не поделаешь, и, значит, не видать вам пропажи, как ушей своих.

– Да ведь денег-то нет! Где же взять? Я бы рад.

– А вот что, заложим до утра ваше пальто, а деньги достанем, завтра и выкупим, – предложили ему.

– Умно изволите говорить, только до утра, а завтра выкупим! – подтвердил гигант, шагая по Грачевке.

– Помилуйте... Как это пальто?! А я в чем же останусь?

– Только до утра как-нибудь перебьетесь, ночуем у меня, живу близко. Да не подумайте чего-нибудь дурного: ведь мы только выручить вас хотим, благо счастливый случай представился, мы люди порядочные, известные. Я приказчик купца Полякова, вот этот – мой товарищ, а они, – говорил гигант, показывая на поддевку, – на железной дороге в артельщиках состоят.

– Да, я артельщик, артельщик на Николаевской дороге, из Кунцева, – подтвердила поддевка.

– Господа, я согласен, я верю вам; где же заложить?

– Найдем такое место, пойдем.

– К Воробью пойдемте! – предложила поддевка.

– Вот сюда! – сказал гигант и указал на высокий дом.

Вошли все в ворота, кроме субъекта, который остался на улице.

– Ну-с, господа, вы погодите тут, а мы наверх пойдем, – сказал гигант, взяв за руку

Колесова.

– Держитесь за меня, а то темно.

Начали подниматься по склизкой лестнице, вошли на площадку, темную совершенно.

– Снимайте пальто и дайте мне, а то двоим входить неловко, а я тем временем постучу.

Колесов повиновался как-то безотчетно, и через минуту пальто уже было у гиганта. Тот продолжал потихоньку стучаться, все далее и далее отодвигаясь от Колесова. Наконец, стук прекратился, раздался скрип половиц.

– Господин, где вы! – шепнул Колесов.

Ответа не было. Он сказал громче, еще громче. Ничего! Наконец, отыскал в кармане жилета спичечницу, зажег огня.

– Что ты тут делаешь, а? Поджигать или воровать пришел? – раздался громовый голос сзади, затем Колесов почувствовал удар, толчок и полетел с лестницы, сброшенный сильной рукой.

Очнулся он на дворе, в луже, чувствуя боль во всем теле. Что с ним случилось? Что было? Он не мог отдать себе отчета. Лихорадочная дрожь, боль во всем теле, страшный холод; он понемногу начинал приходить в чувство, соображать, но ум отказывался ему повиноваться. Наконец, спустя несколько минут он начал приходить в себя.

Весь мокрый, встал он на ноги и вышел на улицу. Темно было. Фонари были загашены, улицы совершенно опустели. Не отдавая себе хорошенько отчета, Колесов пустился идти скорым шагом. Прошел одну улицу, другую... Прохожие и дворники смотрели с удивлением и сторонились от него, мокрого, грязного... Он шел быстро, а куда – сам не знал... Колесил без разбору по Москве... Наконец, дошел до какой-то церкви, где служили заутреню... Он машинально вошел туда и, встав в самый темный угол церкви, упал на колени и зарыдал.

– Господи!.. Господи!.. Погиб я, погиб... – молился он вслух, заливаясь слезами.

Церковь была почти пуста. Священник, молодой человек, монотонно, нехотя исполнял службу. Дьячок козлиным голосом вторил ему. С десятков старух и нищих как-то по привычке молились. Никто не обращал внимания на рыдающего Колесова.

Прошедший мимо него солдат-сторож только пробормотал про себя: «Ишь, проклятые, греться сюда повадились, оборванцы, пьянчуги».

Долго и усердно молился Колесов, наконец немного успокоился. Кончилась заутреня, он вместе со всеми вышел. Начало светать. На паперти встретился ему старый нищий в рубище.

– Что это, почтенный, ты будто сам не свой, али обидели тебя? – обратился он к Колесову.

– Обидели, дедушка... вот как обидели!.. – ответил ему Колесов.

Они вышли оба вместе с паперти и пошли по улице. Дорогой он выплакал свое горе старику. Тот с участием выслушал его и сказал:

– Не помочь твоему горю. Пропал значит, мошенники тебя обработали начисто. Не один ты погиб так, а многие.

– Что же теперь делать, дедушка?

– И сам не знаю что! А вот пойдем-ка в трактир, я тебя чайком напою, а там и подумаем.

Нищий привел его в свою квартиру, в дом Бунина, на Хитров рынок, и заботливые соседи успели вдосталь обобрать Колесова и сделать из него одного из тех многочисленных оборванцев, которыми наполнены трущобы Хитрова рынка и других ночлежных домов, разбросанных по Москве. И сидит теперь Колесов день-деньской где-нибудь в кабаке, голодный, дожидаясь, что какой-нибудь загулявший бродяга поднесет ему стаканчик водки. Пьет этот стакан водки лишь для того, чтобы после него иметь возможность съесть кусок закуски и хоть этим утолить томящий голод. Вечером, когда стемнеет, выходит он выпросить у кого-нибудь из прохожих пятак на ночлег и отправляется на «квартиру».

И потекли для Колесова тяжелые дни... Что-то с ним будет?!

В глухую

«При очистке Неглинного канала находили кости, похожие на человеческие».

Газетная заметка.

Полночь – ужасный час.

В это время все любящие теплый свет яркого солнца мирно спят.

Поклонники ночи и обитатели глухих дебрей проснулись.

Последние живут на счет первых.

Из мокрой слизистой норы выползла противная, бородавчатая, цвета мрака, жаба... Заныряла в воздухе летучая мышь, заухал на весь лес филин, только что сожравший маленькую птичку, дремавшую около гнезда в ожидании рассвета; филину вторит сова, рыдающая больным ребенком. Тихо и жалобно завыл голодный волк, ему откликнулись его товарищи, и начался дикий, лесной концерт – ария полуночников.

Страшное время – полночь в дебрях леса.

Несравненно ужаснее и отвратительнее полночь в трущобах большого города, в трущобах блестящей, многолюдной столицы. И чем богаче, обширнее столица, тем ужаснее трущобы...

И здесь, как в дебрях леса, есть свои хищники, свои совы, свои волки, свои филины и летучие мыши...

И здесь они, как их лесные собратья, подстерегают добычу и подло, потихоньку, наверняка пользуются ночным мраком и беззащитностью жертв.

Все обитатели трущобы могли бы быть честными, хорошими людьми, если бы сотни обстоятельств, начиная с неумелого воспитания и кончая случайностями и некоторыми условиями общественной жизни, не вогнали их в трущобу.

Часто одни и те же причины ведут к трущобной жизни и к самоубийству. Человек загоняется в трущобы, потому что он не уживается с условиями жизни. Прелести трущобы, привлекающие широкую необузданную натуру, – это воля, независимость, равноправность. Там – то преступление, то нужда и голод связывают между собой сильного со слабым и взаимно уравнивают их. А все-таки трущоба – место не излюбленное, но неизбежное.

Притон трущобного люда, потерявшего обличье человеческое, – в заброшенных подвалах, в развалинах, подземельях.

Здесь крайняя степень падения, падения безвозвратного.

Люди эти, как и лесные хищники, боятся света, не показываются днем, а выползают ночью из нор своих. Полночь – их время. В полночь они заботятся о будущей мочи, в полночь они устраивают свои ужасные оргии и топят в них воспоминания о своей прежней, лучшей жизни.

*

Одна такая оргия была в самом разгаре.

Из-под сводов глубокого подвала доносились на свежий воздух неясные звуки дикого концерта.

Окна, поднявшиеся на сажень от земляного пола, были завешаны мокрыми, полинявшими тряпками, прилипшими к глубокой амбразуре сырой стены. Свет от окон почти не проникал на глухую улицу, куда заносило по ночам только загулявших мастеровых, пропивающих последнее платье...

Это одна из тех трущоб, которые открываются на имя женщин, переставших быть женщинами, и служат лишь притонами для воров, которым не позволили бы иметь свою

квартиру. Сюда заманиваются под разными предлогами пьяные и обираются дочиста.

Около входа в подвал стояла в тени темная фигура и зазывала прохожих.

В эту ночь по трущобам глухой Безыменки ходил весь вечер щегольски одетый искатель приключений, всюду пил пиво, беседовал с обитателями и, выходя на улицу, что-то заносил в книжку при свете, падавшем из окон, или около фонарей.

Он уже обошел все трущобы и остановился около входа в подzemелье. Его окликнул хриплый голос на чистом французском языке:

– Monsieur, venez chez nous pour un moment¹².

– Что такое? – удивился прохожий.

– Зайдите, monsieur, к нам, у нас весело.

– Зачем я зайду?

– Теперь, monsieur, трактиры заперты, а у нас пиво и водка есть, у нас интересно для вас, зайдите!

От стены отделилась высокая фигура и за рукав потащила его вниз.

Тот не сопротивлялся и шел, опустив руку в карман короткого пальто и крепко стиснув стальной, с острыми шипами, кастет.

– Entrez!¹³ – раздалось у него над самым ухом.

Дверь отворилась. Перед вошедшим блеснул красноватый свет густого пара, и его оглушил хаос звуков. Еще шаг, и глазам гостя представилась яркая картина истинной трущобы. В громадном подвале, с мокрыми, почерневшими, сажеными сводами стояли три стола, окруженные неясными силуэтами. На стене, близ входа, на жестяной полочке дымился ночник, над которым черным столбиком тянулся дым, и столбик этот, воронкой расходясь под сводом, сливался незаметно с черным закоптевшим потолком. На двух столах стояли лампочки, водочная посуда, остатки закусок. На одном из них шла ожесточенная игра в банк. Метал плотный русак, с окладистой, степенной рыжей бородой, в поддевке. Засученные рукава открывали громадные кулаки, в которых почти скрывалась засаленная колода. Кругом стояли оборванные, бледные, с пылающими взорами понтеры.

– Транспа-арт с кушем! – слышалось между играющими.

– Семитка око...

– Имею... На-пере-пе...

– Угол от гривны!

За столом, где не было лампы, а стояла пустая бутылка и валялась обсосанная голова селедки, сидел небритый субъект в форменной фуражке, обнявшись с пьяной бабой, которая выводила фальцетом:

И чай пи-ла, я, бб-буллки-и ела,

Паз-за-была и с кем си-идела.

За столом средним шел оживленный спор. Мальчик лет тринадцати, в лаковых сапогах и «спинчжаке», в новом картузе на затылке, колотил дном водочного стакана по столу и доказывал что-то оборванному еврею:

– Слушай, а ты...

– И што слушай? Что слушай? Работали вместе, и халтура¹⁴ пополам.

– Оно и пополам; ты затыривал – я по ширмохе, тебе двадцать плиток, а мне соловей.

– Соловей-то полста ходить небось.

¹² Господин, зайдите к нам на минутку (*фр.*) .

¹³ Войдите! (*фр.*)

¹⁴ **Халтура** – барыш.

– Провалиться, за четвертную ушел...

– Заливаешь!

– Пра слово... Чтоб сгореть!

– Где ж они?

– Прожил; коньки вот купил, чепчик. Ни финажки в кармане...¹⁵ Глянь-ка, Оська, какой стрюк заполз!

Оська оглянулся на вошедшего.

– Не лягаш ли?

– Не-е... просто стрюк шатаный...¹⁶ Да вот узнаем... Па-алковница, что кредитного¹⁷, что ли, привела?

Стоявшая рядом с вошедшим женщина обернула к говорившему свое густо наштукатуренное лицо, подмигнула большими, черными, ввалившимися глазами и крикнула:

– Барин пива хочет! Monsieur, садитесь!

Тот, не вынимая правой руки и не снимая низкой, студенческой шляпы, подошел к столу и сел рядом с Иоськой.

Игравшие в карты на минуту остановились, осмотрели молча – с ног до головы – вошедшего и снова стали продолжать игру.

– Что ж, барин, ставь пива, угости полковницу, – заговорил мальчишка.

– А почему пиво?

– Да уж расшибись на рупь-целковый, всех угощай... Вон и барон опохмелиться хочет, – указал Иоська на субъекта в форменной фуражке.

Тот вскочил, лихо подлетел к гостю, сделал под козырек и скороговоркой выпалил:

– Барон Дорфгаузен, Оттон Карлович... Прошу любить и жаловать, рад познакомиться!..

– Вы барон?

– Ma parole...¹⁸ Барон и коллежский регистратор... В Лифляндии родился, за границей обучался, в Москве с кругу спился и вдребезги проигрался...

– Проигрались?

– Вчистую! От жилетки рукава проиграл! – сострил Иоська.

Барон окинул его презрительным взглядом.

– Ma parole! Вот этому рыжему последнее пальто спустил... Одолжите, mon cher¹⁹, двугривенный на реванш... Ma parole, до первой встречи...

– Извольте...

Барон схватил двугривенный, и через минуту уже слышался около банкомета его звучный голос:

– Куш под картой... Имею-с... Имею... Полкуша на-пе#769;, очки вперед...

– Верно, сударь, настоящий барон... А теперь свидетельства на бедность – викторки строчит... Как печати делает! – пояснял Иоська гостю... – И такция недорого. Сичас, ежели плакат – полтора рубля, вечность – три.

– Вечность?

¹⁵ **Затыривать** – помогать карманнику, ширмошнику. **Плитка** – рубль. **Соловей** – золотые часы. Часы вообще – **собака**. **Коньки** – сапоги. **Финажки** – кредитки.

¹⁶ **Стрюк шатаный** – загулявший барин.

¹⁷ **Кредитный** – возлюбленный.

¹⁸ Честное слово (*фр.*) .

¹⁹ Мой дорогой (*фр.*) .

– Да, дворянский паспорт или указ об отставке... С орденами – четыре... У него на все такция...

– Удивительно... Барон... Полковница...

– И настоящая полковница... В паспорте так. Да вот она сама расскажет...

И полковница начала рассказывать, как ее выдали прямо с институтской скамьи за какого-то гарнизонного полковника, как она убежала за границу с молодым помещиком, как тот ее бросил, как она запыла с горя и, спускаясь все ниже и ниже, дошла до трущобы...

– И что же, ведь здесь очень гадко? – спросил участливо гость.

– Гадко!.. Здесь я вольная, здесь я сама себе хозяйка... Никто меня не смеет стеснять... да-с!

– Ну, ты, будет растабарывать, неси пива! – крикнул на нее Иоська.

– Несу, оголтелый, что орешь! – И полковница исчезла.

– Malheur!²⁰ Не везет... А? Каково... Нет, вы послушайте. Ставлю на шестерку куш – дана. На-пе – имею. Полкуша на-пе, очки вперед – пятерку – взял... Отгибаюсь – уменьшаю куш – бита. Иду тем же кушем, бита. Ставлю насмарку – бита... Три – и подряд! Вот не везет!..

– Проиграли, значит?

– Вдребезги... Только бы последнюю дали – и я Крез. Талию изучил, и вдруг бита... Одолжите... до первой встречи еще тот же куш...

– С удовольствием, желаю отыгаться.

– All right!²¹ Это по-барски... Mille merci²². До первой встречи.

А полковница налила три стакана пива и один, фарфоровый, поднесла гостю.

– Votre sant, monsieur!²³

Другой стакан взял барон, оторвавшийся на минуту от карт, и, подняв его над головой, молодецки провозгласил:

– За здоровье всех присутствующих... Уррра!..

Разбуженная баба за пустым столом широко раскрыла глаза, прислонилась к стене и затянула:

И чай пила я с сухарями,
Воротилась с фонарями...

Полковница вновь налила стакан из свежей бутылки.

Около банкомета завязался спор.

– Нет, вы па-азвольте... сочитите абцуги... девятка налево, – горячился барон.

– Ну, ну, не шабарши с гривенником... говорят, бита...

– Сочтите абцуги... Вот видите, налево... Гривенник имею... Иду углом... Сколько в банке?

– В банке? Два рубли еще в банке... Рви... Бита... Гони сюда.

А с гостем случилось нечто. Он все смотрел на игру, а потом опустил голову, пробормотал несколько несвязных слов и грохнулся со стула.

– Семка, будет канительиться-то, готов! – крикнул банкомету мальчишка.

– Вижу!..

²⁰ Несчастье! (фр.)

²¹ Превосходно! (англ.)

²² Тысяча благодарностей (фр.) .

²³ Ваше здоровье, господин! (фр.)

Банкомет сгреб деньги в широкий карман поддевки и, заявив, что банк закрыт, порастолкал игроков и подошел к лежавшему.

Полковница светила.

Мальчишка и банкомет в один момент обшарили карманы, и на столе появилась записная книжка с пачкой кредиток, часы, кошелек с мелочью и кастет.

– Эге, барин-то с припасом, – указал Иоська на кастет.

Барон взял книжку и начал ее рассматривать.

– Ну что там написано? – спросил банкомет.

– Фамилии какие-то... Счет в редакцию «Современных известий»... постой и... Вот насчет какой-то трущобы... Так, чушь!..

– Снимайте с него коньки-то!

– Да оставьте, господа, простудится человек, будет, нажили ведь! – вдруг заговорила полковница.

– Черт с ним, еще из пустяков сгоришь... Бери на вынос! – скомандовал банкомет.

Иоська взял лежавшего за голову и вдруг в испуге отскочил. Потом он быстро подошел и пощупал его за руку, за шею и за лоб.

– А ведь не ладно... Кажись, вглухую!²⁴

– Полно врать-то!

– Верно, Сема, гляди.

Банкомет засучил рукав и потрогал гостя...

– И вправду... Вот беда!

– Неловко...

– Ты что ему, целый порошок всыпала? – спросил русак полковницу.

– Не нашла порошков. Я в стакан от коробки из розовой отсыпала половину...

– Половину... Эх, проклятая! Да ведь с этого слон сдохнет!.. Убью!

Он замахнулся кулаком на отскочившую полковницу.

Ул-лажила яво спать
На тесовую кровать! —

еле слышно, уткнувшись носом в стол, тянула баба.

К банкомету подошел мальчик и что-то прошептал ему на ухо.

– Дело... беги! – ответил тот. – Иоська, берись-ка за голову, вынесем на улицу, отлежится к утру! – проговорил Семка и поднял лежавшего за ноги. Они оба понесли его на улицу.

– Не смей никто выходить до меня! – скомандовал банкомет.

Все притихли.

На улице лил ливня дождь. Семка и Иоська ухватили гостя под руки и потащили его к Цветному бульвару. Никому не было до этого дела.

А там, около черного отверстия, куда водопадом стремилась уличная вода, стоял мальчишка-карманник и поддерживал железную решетку, закрывающую отверстие.

На край отверстия поставили принесенного и опустили его. Раздался плеск, затем громынула железная решетка, и все стихло.

– И концы в воду! – заметил Иоська.

– Сгниет – не найдут, илом занесет али в реку унесет, – добавил карманник.

«Каторга»

Не всякий поверит, что в центре столицы, рядом с блестящей роскошью миллионных

²⁴ Вглухую – убит насмерть.

домов, есть такие трущобы, от одного воздуха и обстановки которых люди, посещавшие их, падали в обморок.

Одну из подобных трущоб Москвы я часто посещал в продолжение последних шести лет.

Это – трактир на Хитровом рынке, известный под названием «Каторга».

Трущобный люд, населяющий Хитров рынок, метко окрестил трактиры на рынке. Один из них назван «Пересыльный», как намек на пересыльную тюрьму, другой «Сибирь», третий «Каторга». «Пересыльный» почище, и публика в нем поприличнее, «Сибирь» грязнее и посещается нищими и мелкими воришками, а «Каторга» нечто еще более ужасное.

Самый Хитров рынок с его ночлежными домами служит притоном всевозможных воров, зачастую бежавших из Сибири.

Полицейские протоколы за много лет могут подтвердить, что большинство беглых из Сибири в Москве арестовываются именно на Хитровом рынке.

Арестант бежит из Сибири с одной целью – чтобы увидеть родину. Но родины у него нет. Он отверженец общества. Все отступились от него, кроме таких же, как он, обитателей трущоб, которые посмотрят на него, «варнака Сибирского, генерала Забугрянского», как на героя.

Они, отверженцы, – его родные, Хитров рынок для него родина.

При прощаньях арестантов в пересыльной тюрьме, отправляющихся в Сибирь в каторжные работы без срока, оставшиеся здесь говорят:

– Прощай, бог даст увидимся в «Каторге».

– Постараемся! – отвечают сибиряки, и перед глазами их рисуется Хитров рынок и трактир «Каторга».

И в Сибири при встрече с беглыми арестанты-москвичи повторяют то же заветное слово...

Был сырой, осенний вечер, когда я в последний раз отворил низкую грязную дверь «Каторги»; мне навстречу пахнул столб белого пара, смеси махорки, сивухи и прелой тряпки.

Гомон стоял невообразимый. Неясные фигуры, брань, лихие песни, звуки гармоники и кларнета, бурление пьяных, стук стеклянной посуды, крики о помощи... Все это смешивалось в общий хаос, каждый звук раздавался сам по себе, и ни на одном из них нельзя было остановить своего внимания...

С чем бы сравнить эту картину?!

Нет! Видимое мной не похоже на жилище людей, шумно празднующих какое-нибудь торжество... Нет, это не то... Не похоже оно и на берлогу диких зверей, отчаянно дерущихся между собой за кровавую добычу... Опять не то...

Может быть, читатели, вы слышали от старых нянек сказку о Лысой горе, куда слетаются ведьмы, оборотни, нетопыри, совы, упыри, черти всех возрастов и состояний справлять адский карнавал? Что-то напоминающее этот сказочный карнавал я и увидел здесь.

На полу лежал босой старик с раскровавленным лицом. Он лежал на спине и судорожно подергивался... Изо рта шла кровавая пена...

А как раз над его головой, откинувшись на спинку самодельного стула, под звуки кларнета и гармоники отставной солдат в опорках ревет дикую песню:

Ка-да я был слабодна-ай мальчик...

Половой с бутылкой водки и двумя стаканами перешагнул через лежавшего и побежал дальше...

Я прошел в середину залы и сел у единственного пустого столика.

Все те же типы, те же лица, что и прежде...

Те же бутылки водки с единственной закуской – огурцом и черным хлебом, те же лица,

пьяные, зверские, забитые, молодые и старые, те же хриплые голоса, тот же визг избиваемых баб (по-здешнему «теток»), сидящих частью в одиночку, частью гурьбой в заднем углу «залы», с своими «котами».

Эти «бабы» – завсегдатаи, единственные посетители трактира, платящие за право входа буфетчику.

Судьба их всех одинакова, и будущее каждой из них не разнится: или смерть в больнице и под забором, или при счастливом исходе – торговля гнилыми яблоками и селедками здесь же на рынке... Прошлое почти одинаковое: пришла на Хитров рынок наниматься; у нее нарочно, чтобы закабалить ее, «кот» украл паспорт, затем, разыгрывая из себя благодетеля, выручил ее, водворив на ночлег в ночлежный дом – место, где можно переночевать, не имея паспорта. (Это, конечно, не устраивается без предварительного соглашения с хозяином ночлежного дома.) «Кот», наконец, сделался ее любовником и пустил в «оборот», то есть ввел в «Каторгу» и начал продавать ее пьяным посетителям... Прошло три – шесть месяцев, и свеженькая, совсем юная девушка превратилась в потерявшую облик человеческий «каторжную тетку».

Лет пять тому назад я встретился в «Каторге» с настоящей княжной, известной Москве по скандальному процессу и умершей в 1885 году в больнице... Покойная некоторое время была завсегдатаем «Каторги»...

«Коты» здесь составляют, если можно так выразиться, отдельную касту, пользуются благоволением половых и буфетчиков, живут на вырученные их любовницами деньги и кражей кошельков и платья у пьяных посетителей, давая долю из краденного половым...

Вот, посреди комнаты, за столом, в объятиях пожилого плечистого брюнета с коротко остриженными волосами лежит пьяная девчонка, лет тринадцати, с детским лицом, с опухшими красными глазами, и что-то старается выговорить, но не может... Из маленького, хорошенького ротика вылетают бессвязные звуки. Рядом с ними сидит щеголь в русской поддевке – «кот», продающий свою «кредитную» плечистому брюнету...

– Говорят тебе, зеленые ноги²⁵, у нас много слободней, потому свои...

– Зеленые... зеленые... будет звонить-то, черт-шалава!..

– Нечто не знают тебя... звонить!.. Ты бы лучше...

Здравствуй, милая, хорошая моя,
Чирнобровая, порря-дач-ная... —

грянули песенники и покрыли разговор.

Передо мной явился новый субъект, в опорках, одетый в черную от грязи, подпоясанную веревкой женскую рубаху с короткими рукавами, из-под которых высывались страшно мускулистые, тяжелые руки; одну, без пальцев, отрубленных или отмороженных, он протянул мне.

– Salve, amice!²⁶ – прогремел надо мной густой бас.

– Здравствуй, Лавров, – ответил я.

– С похмелья я, барин; сделай милость, опохмели, многую лету спою.

И не успел я ответить, как Лавров гаркнул так, что зазвенели окна: «Многая лета, многая!..», и своим хриплым, но необычайно сильным басом покрыл весь гомон «Каторги». До сих пор меня не замечали, но теперь я сделался предметом всеобщего внимания. Мой кожаный пиджак, с надетой навывпуск золотой цепью, незаметный при общем гомоне и суете, теперь обратил внимание всех. Плечистый брюнет как-то вздрогнул, пошептался с «котом» и бросил на стол рубль; оба вышли, ведя под руки пьяную девушку...

²⁵ Зеленые ноги – беглый с каторги.

²⁶ Здорово, приятель! (ит.)

– Лета многоя, лета, водки ставь! – кончил Лавров, не обращая ни на что внимания.

Я спросил полбутылки... Не успели еще нам подать водки, как бородатый мужик, песенник, отвел от меня Лаврова и, пошептавшись с ним, отошел к песенникам...

Снова загремела песня, завизжала гармоника и завыл кларнет... Замешательство, вызванное восклицанием Лаврова, обратившим внимание на меня, скоро исчезло.

– Спрашивал меня, не сыщик ли ты, испугались, вишь!.. – объяснил мне Лавров, проглатывая стакан водки...

Лаврова я знаю давно. Он сын священника, семинарист, совершенно спившийся с кругу и ставший безвозвратным завсегдатаем «Каторги» и ночлежных притонов. За все посещения мною в продолжение многих лет «Каторги» я никогда не видал Лаврова трезвым... Это – здоровенный двадцатипятилетний малый, с громадной, всклокоченной головой, вечно босой, с совершенно одичавшим, животным лицом. Кроме водки, он ничего не признает, и только страшно сильная натура выносит такую беспросыпную, голодную жизнь...

К нашему столу подошла одна из «теток», баба лет тридцати, и, назвав меня «кавалером», попросила угостить «папиросочкой». Вскоре за ней подсел и мужик, справлявшийся у Лаврова обо мне и успокоившийся окончательно, когда после Лаврова один из половых, знавших меня, объяснил ему, что я не сыщик.

– Уж извините, очень приятно быть знакомыми-с, а мы было в вас ошиблись, думали, «легаш», – протянул он мне руку, без приглашения садясь за стол.

– Водочки дозвоьте, а мы вам песенку сыграем. Вы у нас и так гостя спугнули, – указывая на место, где сидел плечистый брюнет, сказал песенник.

Я дал два двугривенных, и песенники грянули «Капказскую».

В дверях главной залы появился новый субъект, красивый, щегольски одетый мужчина средних лет, с ловко расчесанной на обе стороны бородкой. На руках его горели дорогие бриллиантовые перстни, а из-под темной визитки сбегала по жилету толстая, изящная золотая цепь, увешанная брелоками.

То был хозяин заведения, теперь почетный гражданин и кавалер, казначей одного благотворительного общества, а ранее – буфетчик в трактире на том же Хитровом рынке теперь умершего Марка Афанасьева.

Хозяин самодовольно взглянул на плоды рук своих, на гудевшую пьяную ватагу, мановением руки приказал убрать все еще лежавшего и хрипевшего старика и сел за «хозяйский» стол у буфета за чай...

«Каторга» не обратила никакого внимания на хозяина и гудела по-прежнему...

В углу барышник снимал сапоги с загулявшего мастерового, окруженного «тетками», и торговался, тщательно осматривая голенища и стараясь отодрать подошву.

– Три рубля, хошь умри! – топая босой ногой по грязному полу, упирался мастеровой.

– Шесть гривен хошь, – получай! – в десятый раз повторяли оба, и каждый раз барышник тыкал в лицо сапогами мастеровому, показывая, будто «подметки-то отопрели, оголтелый черт! Три рубли, пра, черт!»

– Отперли! Сам ты, рыжая швабра, отопрел! Нет, ты кажи, где отопрели? Это дом, а не сапоги, дом...

– Карраул, убили! – заглушили слова торгующихся дикие крики во весь пласт рухнувшей на грязный пол «тетки», которую кулаком хватил по лицу за какое-то слово не попад ее возлюбленный.

– Это за любовь-то мою, ока-янный... за любовь-то мо...

– Караул, убили! – еще громче завопила она, получив новый удар сапогом по лицу, на этот раз от мальчишки-полового.

– Знай наших, не умирай скорча! – кто-то с хохотом сострил по поводу плюхи...

Я расплатился и пошел к выходу.

Несколько лет тому назад здесь при мне так же поступили с княжной. Я вступился за нее, но, выручая ее, сам едва остался цел только благодаря тому, что княжну били у самого выхода да со мной был кастет и силач товарищ, с которым мы отделались от дравшихся на

площади, где завсегдатаи «Каторги» боялись очень шуметь, не желая привлекать постороннюю публику, а пожалуй, и городского.

Я вышел на площадь. Красными точками сквозь туман мерцали фонари двух-трех запоздавших торговых съестными припасами. В нескольких шагах от двери валялся в грязи человек, тот самый, которого «убрали» по мановению хозяйской руки с пола трактира... Тихо было на площади, только сквозь кой-где разбитые окна «Каторги» глухо слышался гомон, покрывавшийся то октавой Лаврова, оравшего «многую лету», то визгом пьяных «теток»:

Пьем и водку, пьем и ром,
Завтра по миру пойдем...

Последний удар (Очерк из жизни бильярдных)

Он вошел в бильярдную. При его появлении начался шепот, взгляды всех обратились к нему.

– Василий Яковлевич, Василий Яковлевич... капитан пришел! – слышалось в разных углах.

А он стоял у дверей, прямой и стройный, высоко подняв свою, с седой львиною гривой, голову, и смотрел на играющих. На его болезненно-бледном лице появлялась порою улыбка. Глаза его из глубоких орбит смотрели бесстрастно, и изменялась лишь линия мертвенно-бледных губ, покрытых длинными седыми усами.

Капитан – своего рода знаменитость в мире бильярдных игроков.

Игра его была поистине изумительна. Он играл не по-маркерски, не по-шулерски, а блестящим вольным ударом.

Много лет существовал он одною игрой, но с каждым годом ему труднее и труднее приходилось добывать рубли концом кия, потому что его игру узнали всюду и брали с него так много вперед, что только нужда заставляла его менять свой блестящий «капитанский» удар на иезуитские шутики.

В бильярдных посетителям даются разные прозвища, которые настолько входят в употребление, что собственные имена забываются. Так, одного прозвали «Енотовые штаны» за то, что он когда-то явился в мохнатых брюках. Брюк этих он и не носил уж после того много лет, но прозвание так и осталось за ним; другого почему-то окрестили «Утопленником», третьего – «Подрядчиком», пятого – «Кузнецом» и т. п.

Василия же Яковлевича звали капитаном, потому что он на самом деле был капитан в отставке – Василий Яковлевич Казаков.

В юности, не кончив курса гимназии, он поступил в пехотный полк, в юнкера. Началась разгульная казарменная жизнь, с ее ленью, с ее монотонным шаганьем «справа по одному», с ее «нап-пле-чо!» и «шай, нак-кра-ул!» и пьянством при каждом удобном случае. А на пьянство его отец, почтовый чиновник какого-то уездного городка, присылал рублей по десяти в месяц, а в праздники, получивши мзду с обывателей, и по четвертному билету.

«Юнкерация» жила в казармах, на отдельных нарах, в ящиках которых, предназначенных для белья и солдатских вещей, можно было найти пустые полуштофы, да и то при благосостоянии юнкерских карманов, а в минуту безденежья «посуда» пропивалась, равно как и трехфунтовый хлебный паек за месяц вперед, и юнкера хлебали щи с «ушком» вместо хлеба. Батальонный остряк, унтер-офицер Орлякин, обедая со своим взводом, бывало, откладывал свой хлеб, левой рукой брался за ухо, а правой держал ложку и, хлебая щи, говорил: «По-юнкерски, с ушком».

У юнкеров была одна заветная вещь, никогда не пропивавшаяся: это гитара Казакова, великого виртуоза по этой части.

Под звуки ее юнкера пели хором песни и плясали в минуту разгула. Гитара сделала Казакова первым бильярдным игроком.

Переход от первого инструмента ко второму совершился случайно. Казаков прославился игрой на гитаре по всему городу, а любители, купцы и чиновники, таскали его на вечеринки и угощали в трактирах.

Казаков стал бывать в бильярдных, шутя сыграл партию с кем-то из приятелей, а через год уже обыгрывал всех маркеров в городе.

Дорого, однако, Казакову стоило выучиться. Много раз приходилось обедать с «ушком» вместо хлеба, еще больше сидеть в темном корпусе под арестом за опоздание на ученье...

Его произвели в офицеры, дали роту, но он не оставлял игры.

Слава о нем, как о первом игроке, достигла столиц, а вскоре он и сам сделался профессиональным игроком.

Опоздав на какой-то важный смотр, где присутствие его было необходимо, Казаков, по предложению высшего начальства, до которого стали доходить слухи о нем как о бильярдном шулере, должен был выйти в отставку.

Ему некуда было больше идти, как в бильярдную. И пошла жизнь игрока.

То в кармане сотни рублей, то на другой день капитан пьет чай у маркеров и раздобывается «трешницей».

Когда своих денег не было подолгу, находились антрепренеры, водившие Казакова по бильярдным. Они давали денег на крупную, верную игру, брали из выигрыша себе львиную долю и давали капитану гроши «на харчи».

Он играл в клубах, был принят в порядочном обществе, одевался у лучших портных, жил в хорошем отеле и... вел тесную дружбу с маркерами и шулерами. Они сводили ему игру.

Шли годы. Слава его, как игрока, росла, известность его, как порядочного человека, падала.

Из клубных бильярдных он перебрался в лучшие трактиры; потом стал завсегдатаем трактиров средней руки.

И здесь узнали его. Приходилось сводить игру непосильную, себе в убыток.

Капитан после случайного крупного выигрыша бежал из столицы на юг и начал гастролировать по бильярдным. Лет в семь он объездил всю Россию и, наконец, снова появился в столице.

Но уж не тот, что прежде: состарился.

От прежнего джентльмена-капитана остались гордая, военная осанка, седая роскошная шевелюра и сильно поношенный, но прекрасно сидевший черный сюртук.

Вот каким он явился в бильярдную бульварного трактира.

Играли на деньги два известных столичных игрока: старик, подслеповатый, лысый, и молодой маркер из соседнего трактира.

Маркер проигрывал и горячился, старик хладнокровно выигрывал партию за партией и с каждым ударом жаловался на свою старость и немощь.

– Ничего, голубушки мои, господа почтенные, не вижу, ста-арость пришла! – вздыхает старик и с треском «делает» трудный шар.

– Старый черт, кроме лузы ничего не видит! – сердится партнер.

– Подрезаю красенького.

– Тридцать пять, и очень досадно! – считает маркер.

– В угол.

– Не было. Никого играют, тридцать пять ждут!

– Батюшки мои светы! Кого это я вижу, сколько лет, сколько зим, голубушка Василий Яковлевич! Какими судьбами-с?

– На твою игру, Прохорыч, посмотреть приехал; из Нижнего теперь...

Прохорыч, живо кончив партию, бросил кий, и два старика, «собратья по оружию»,

жарко обнялись, а потом уселись за чай.

– Где побывал, Василий Яковлевич?

– Дурно кончил. Теперь из Нижнего, в больнице лежал месяца три, правая рука сломана, сам развинтился... Все болит, Прохорыч!

Прохорыч вздохнул и погладил бороду.

– Руку-то где повредил? – спросил он, помолчавши.

– В Нижнем, с татаринком играл. Прикинулся, подлец, неумелым. Деньжат у меня а-ни-ни. Думал – наверное выиграю, как и всегда, а тут вышло иначе. Три красных стало за мной, да за партии четыре с полтиной. Татарин положил кий: дошлите, говорит, деньги! Так и так, говорю, повремените: я, мол, такой-то. Назвал себя. А татарин-то себя назвал: а я, говорит, Садык... И руки у меня опустились...

– Садык, Садычка? – Ну, на черта, Василий Яковлевич, налетел.

– Да, Садык. Деньги, кричит, мне подавай. Маркер за партии требует. Я было и наутек, да нет...

– Ну, что дальше, что?

– Избили, Прохорыч, да в окно выкинули... Со второго этажа в окно, на мощеный двор... Руку сломали... И надо же было!.. Н-да. Полежал я в больнице, вышел – вот один этот сюртучок на мне да узелочек с бельем. Собрали кое-что маркеры в Нижнем, отправили по железной дороге, билет купили. Дорогой же – другая беда, указ об отставке потерял – и теперь на бродяжном положении.

Капитан, за несколько минут перед тем гордо державший по военной привычке свою голову и стан, как-то осунулся.

– Ну, а игра, Василь Яковлевич, все та же?

Капитан встрепенулся.

– Не знаю; из больницы вышел, еще не пробовал. Недели две только руку с перевязки снял.

– Поди, похуже стала.

– А может, отстоялась. Когда я долго не играю – лучше игра. Думаю свести.

– Своди, что же – на красненькую... – Прохорыч незаметно сунул под блюдечко десятирублевку.

– Спасибо, старый друг, спасибо, – выручаешь в тяжкую минуту.

– Мы старую хлеб-соль не забываем!

Капитан взял кий в руки.

– За капитана держанье, держу за капитана красный билет! – послышалось во всех углах. Посыпались на столы кредитки...

Капитан гордо выпрямился.

Его партнер, известный игрок Свистун, молодой мальчик, начал партию. Ловко, «тонким зефиром», его шар скользнул по боку пирамидки и вернулся назад.

Капитан оперся на борт, красиво согнул свой тонкий, стройный стан, долго целился и необычайно сильным ударом «в лоб» первого шара пирамиды разбил все шары, а своего красного вернул на прежнее место. Удар был поразительный.

– Браво, капитан, браво! – аплодировала, восхищаясь, бильярдная.

Но капитану было не до того. Он схватился левой рукой за правую и бледный, как мертвец, со стоном опустился на стул.

Свистун сделал удар – и не отыгрался. Его шар встал посередине бильярда, как раз под всей партией. Стоило положить одного шара и выиграть все.

А капитан, удививший минуту тому назад бильярдную своим былым знаменитым «капитанским» ударом, продолжал стонать, сидя на стуле.

Вся бильярдная столпилась около него.

– Рука моя... рука... Умираю... Она сломана! – стонал капитан.

Ему дали воды. Он немного оправился и помутившимися глазами смотрел на окружающих.

– Играйте, играйте, ваш удар! – требовал Свистун и державшие за него.
– Пусть другой играет, он не может, видите, болен! – говорили противники.
– А болен, не берись! Мы тоже деньги ставили.
– Послушай, Свистун, я стою подо всей партией, разойдемся! – посмотрев на бильярд, промолвил капитан.

– Играйте-с!
Капитан, бледный, с туманным взором, закусив от боли губу, положил правую руку за борт сюртука, встал, взял в левую руку кий и промахнулся.

Свистун с удара сделал партию и получил деньги.

Капитан без чувств лежал на стуле и стонал.

Кто-то, уплачивая проигрыш, обругал его «старым вором, бродягой».

Его выгнали, больного, измученного, из бильярдной и отобрали у него последние деньги. На улице бедняка поднимали дворники и отправили в приемный покой. Прошло несколько месяцев; о капитане никто ничего не слышал, и его почти забыли. Прошло еще около года. До бильярдной стали достигать слухи о капитане, будто он живет где-то в ночлежном доме и питается милостыней.

Это было верно: капитан действительно жил в ночлежном приюте, а по утрам становился на паперть вместе с нищими, между которыми он известен за «безрукого барина». По вечерам его видали сидящим в бильярдных грязных трактиров.

Он поседел, осунулся, стан его согнулся, а жалкие лохмотья и ампутированная рука сделали его совсем непохожим на бывшего щеголя-капитана.

Неудачник

– Вы, батенька мой, зачем пожаловали? – Этими словами в прихожей классической гимназии остановил инспектор Тыква входившего гимназиста Корпелкина.

– Как, куда? В классы, Евдоким Леонидович!

– Зачем это?

– Как зачем? На переэкзаменовку!

– Поздно-с! Вчера совет вас исключил, переэкзаменовка вам не разрешена, можете завтра прийти за получением бумаг...

– Как? Почему не разрешена переэкзаменовка? Ведь у меня только одна двойка и то из латинского... Отчего же Куропаткина и Субботина вчера переэкзаменовали? У них по две двойки...

– Не знаю-с, завтра получите бумаги, а сегодня можете идти.

Корпелкин вышел. Слезы и злость душили его.

– Господи, да что же я за несчастный такой? Из-за пустой двойки... И почему это других допустили до переэкзаменовки, а меня нет? А я имел больше права, у меня одна двойка... да за что же, за что!

На другой день ему были выданы из гимназии бумаги.

*

Прошло около пяти лет после этого случая. Корпелкин, сын бедных родителей, жил дома, перебиваясь кой-как дешевыми уроками, которые давали ему рублей около восьми в месяц. Первые два года, впрочем, он горячо принялся готовиться в университет, хотел держать экзамен, причем сильно рассчитывал на обещанный урок у одного купца, чтобы добыть необходимых на поездку денег, но урок этот перебил его бывший товарищ по гимназии Субботин.

Прошло еще три года после этого. Университет забылся, о продолжении ученья и помину нет – жить стало нечем, пришлось искать места. Эти поиски продолжались около

года, во время которого предлагал дальний родственник, исправник, поступить в урядники, но молодой человек, претендовавший поступить в университет, отказался, за что, впрочем, от родителей получил нагоняй.

Наконец, по хлопотам одного знакомого секретаря управления железной дороги, приятеля его отца, ему было обещано место помощника счетовода при управлении.

В назначенный день в передней управления сидели двое: маленький невзрачный молодой человек, с птичьей запуганной физиономией, и рослый, бородатый мужчина, с апломбом говоривший, с апломбом двигавшийся.

– Господа, пожалуйста к управляющему! – заявил им чиновник, и через пять минут оба стояли перед управляющим дороною.

– Господин Ловитвин, – обратился он к бородатому, – я вас назначаю помощником счетовода, а вас, господин Корпелкин, в статистику, на тридцать пять рублей в месяц. Прошу служить аккуратно, быть исправным!

– Господин управляющий, мне обещали...

Но управляющий взглянул в лицо Корпелкина, как-то презрительно улыбнулся вместо ответа, повернулся спиной и вышел...

*

Богато и весело справлял свои именины секретарь управления Станислав Францевич Пулькевский. Его просторная чистенькая квартирка была переполнена гостями. Две комнаты были заняты карточными столами, на которых «винтили» и «стучали» чиновники посолднее, а молодежь отплясывала в зале. Два железнодорожных сторожа обносили барышень фруктами и чаем.

Станислав Францевич не жалел угощенья... Да и жалеть-то нельзя было: на вечерах этих он лицом показывал свой товар, трех дочерей: Клементину, Марию и Цецилию. Старшей было двадцать два года, младшей – восемнадцать лет.

Веселились все, танцевали... Только в углу, как «мрачный демон, дух изгнания», сидел Корпелкин, не отрывая глаз от Клементины, в которую был влюблен и уже считался женихом ее...

А смущал его армейский подпоручик, не отходивший от Климочки, как мысленно называл ее Корпелкин, и танцевавший с ней все танцы. Она тоже умильно нежничала с военным и только раз, да и то как-то презрительно, как показалось Корпелкину, взглянула в тот угол, где сидел страдалец.

– Клементина Станиславовна! Позвольте вас просить на тур вальса! – как-то робко заявил ей, наконец, Корпелкин, улучив минуту, когда она, усталая после кадрили, сидела в углу и обмахивалась батистовым платком.

– Видите, я... – начала было она, но подлетевший подпоручик выручил ее.

– Клементина Станиславовна, позвольте...

– Да, с удовольствием, – не дала договорить Климочка, и новая пара закружилась по зале.

Ни слова более не сказал Корпелкин; пробравшись потихоньку в переднюю, он оделся и ушел домой.

*

– Вася, слышал? Станислав Францевич дочь вчера просватал! – на другой день в конторе заявил ему товарищ Колушкин.

– Вчера?!

– Да, и шампанское пили! Клементину Станиславовну, за офицера, что с ней танцевал.

– Как? Что? За этого офицера?.. Ты не шутишь? Нет?..
– Да вот хоть самого спроси. Что за шутки, и свадьба в ноябре назначена...
– Свадьба?.. Нет, этого не может быть... что ты... нет!..
– Честное слово! Мы приглашены на свадьбу, уж невеста меня и в шафера выбрала...
Прошедший мимо управляющий прекратил дальнейший разговор.

*

– Боже мой, боже мой!.. Что же это такое? Что я за несчастный такой?.. Ничего-то, ничего в жизни не удастся мне!.. Наконец она!.. Она, по-видимому, интересовавшаяся мною, променяла меня на какого-то офицера... А ведь вместе росли... Еще в гимназии мечтали о нашем будущем счастье... И отец, определяя меня на службу к себе, намекал на это... И вдруг офицер этот... А чем я, спрашивается, хуже его? А вот нет, не везет... И наградой обошли... Когда директор назначал награды, призвал нас, посмотрел сначала на Ловитвина, потом на меня – и назначил ему сто рублей, а мне тридцать... Отчего это? Так вот, не понравился что-то, а отчего – сам не придумаю... Отчего же в самом деле? И всегда ведь так... Разве я меньше стою, чем другие? Работаю меньше? – вслух рассуждал Корпелкин, шлепая по грязи... Он то и дело оступался и попадал в лужи, но не замечал ничего и рассуждал сам с собою до тех пор, пока не наткнулся на церковную ограду. Церковь была освещена ярко. У подъезда стояли богатые кареты... Сквозь раскрытые форточки окон несло «Исаия ликуй».

– Пойти хоть на чужое счастье посмотреть, если свое не удастся.
В церкви была толпа, давка.
– Куда лезешь, – остановил его околоточный.
– В церковь! – ответил он.
– Говорят, нельзя... – И его кто-то вытолкнул из церкви...

*

«Приидите все несчастные и обрящете здесь покой души», – написал какой-то местный юморист-завсегдатай на почерневших дверях погребка красным карандашом. Надпись эта существует, полустершаяся, неразборчивая, давно, ее все обитатели погребка знают наизусть.

Погребок этот замечательный. Он стоит в укромном уголке бойкой, оживленной ночью и днем разгульной улицы, и в него не заглядывает всевидящее око полиции.

В погребе особая жизнь, гармонирующая с обстановкой.

Прямо от входа, в первой комнате, стоит буфет, сзади которого на полках красуется коллекция вин и водок. На буфете горой поднялся бочонок и стоят на подносе стаканчики, так как погребок, вопреки существующим законам, по неисповедимой воле судеб, доказывающей, что нет правил без исключений, торгует круглые сутки распивочно и на вынос... Снаружи все прилично, сравнительно чисто. За буфетом стоит солидный, со степенной бородой буфетчик, бесстрастно, никогда не изменяя своей холодной физиономии, смотрящий на окружающее.

Двери то и дело отворяются. Вбежит извозчик, распояшется, достанет пятак и, не говоря ни слова, хлопнет его об стойку. Буфетчик ловким движением руки сгребет этот пятак в ящик, нальет стакан и наклонится за прилавок. В руках его появляется полупудовая, черная, как сапог, печенка, кусочек которой он стукнет о прилавок и пододвинет его к извозчику. За извозчиком вбежит весь согнувшийся сапожник с колодками под мышкой.

– Опохмелите, Афанасий Афанасьевич! – попросит он и загремит колодками по прилавку.

Опять безмолвно наливается стакан водки, режется кусок печенки, и сапожные колодки исчезают за буфет...

И так с утра до утра...

Неизменным завсегдатаем погребка сделался и Корпелкин. С утра он сидел в задней темной комнате, известной под именем «клоповника», вместе с десятком оборванцев, голодных, опухших от пьянства, грязных...

Было утро. Один за другим оборванцы наполняли «клоповник».

Они проходили поодиночке мимо буфетчика, униженно кланялись, глядя в его бесстрастное, холодное лицо, и садились в «клоповник». Затем шли разговоры, где бы добыть на еду, на водку.

– Петька, давай перекачим твою поддевку, может, бумажку дадут! – предлагал босой, в одной рубашке, оборванец своему соседу в кафтане.

– Отчепись; по тваму, што ли, дойти?.. Вылицевали уж меня, нечего сказать... – протестует Петька.

– Сейчас водочки бы, Петя... Стюденю потом на пятак... А студень хороший, свежий... С хрящом, знаешь...

– Ну тебя!..

– И хренку дадут... Хорошо...

– Убирайся... Ни за что... К крестной в воскресенье пойду... Она жалованье получит...

– Да мы найдем надеть-то... А сейчас, понимаешь, студню. По баночке, и студню...

– Петька, а ты не ломайся, это не по-товарицки... – вмешался третий оборванец.

– Студень-то све-жай...

А Корпелкин сидел в углу и связывал веревкой развалившийся опорок, подобрав под себя босую ногу...

Он был погружен в свое занятие и не обращал внимания на окружающее.

– Ишь ты, проклятый, как его угораздило лопнуть-то... Н-да!..

Он связал опорок и посмотрел на него.

– Ладно, потерпит, – решил он.

«А у Климочки тогда были розовые ботинки... Каблучок с выемкой... Тоже розовый...» – вдруг пришло на ум Корпелкину. Он зажмурил глаза...

«В каких же она ботинках венчалась? Должно быть, в белых... Всегда в белых венчаются. Должно быть...»

Вспомнил он, как его не пустили в церковь, как он пошел в трактир, напился пьян, неделю без просыпу пил, как его выгнали со службы за пьянство и как он, спустив с себя приличное платье, стал завсегдатаем погребка... Вот уж с лишком год, как он день сидит в нем, а на ночь выходит на угол улицы и протягивает руку за пятаком на ночлег, если не получает его от загулявшего в погребке гостя или если товарищи по «клоповнику» не раздобудутся деньгами.

Старые товарищи раза три одевали его с ног до головы, но он возвращался в погребок, пропивал все и оставался, по местному выражению, «в сменке до седьмого колена», то есть в опорках и рваной рубашке... Раз ему дали занятие в конторе у инженера. Он проработал месяц, получил десять рублей. Его неудержимо влекло в погребок похвастаться перед товарищами по «клоповнику», что он на месте, хорошо одет и получает жалованье.

– А, барин, ишь ты! Поздравляем! – встретили его оборванцы, даже сам буфетчик руку подал и взглянул как-то странно на его костюм, будто оценивая его. Потом Корпелкин угостил всех на радостях водкой, а сам долго не хотел пить больше одной рюмки, но не вытерпел. К полуночи все его платье очутилось за буфетом, а он сам, размахивая руками, кричал, сидя в углу:

– Н-ну их, подлецов... Кланяться за свой труд... Не хочу, подлецы! Эксплуататоры! Десять рублей в месяц...

– Ну, в трущобе я... В трущобе... А вы, франты, не в трущобе, а? Да черти вас возьми... Холуи... Я здесь зато сам по себе... Я никого не боюсь... Я голоден – меня

накормят... Опохмелят... У меня есть – я накормлю... Вот это по-товарищески... А вы... Тьфу! Вы только едите друг друга... Ради прибавки жалованья, ради заслуг каких-то продаете других, топите их... как меня утопили... За что меня? А? За что?! – кричал Корпелкин, валясь на пол...

Пьяный он всегда ругался и кричал в том же духе, а трезвый ни с кем не говорил ни слова, а только и думал, как бы добыть водки, чтоб напиться и ругаться.

– Вчера бы гривенник дали, на стаканчик бы, а теперь и пятака не дадут! – посмотрел он опять на опорки.

Потом опять мелькнули в его воображении стройные ножки в розовых ботинках. Он посмотрел на единственный в «клоповнике» стол. Петька сидел в одной рубашке и наливал в стакан из штофа водку. Перед ним стоял студень с хреном.

– Эй, барин, подходи, твой черед, мы уж опохмелились! – крикнул он пьяным голосом Корпелкину.

Корпелкин подошел и взял стакан.

– И студень хороша-ай! – причмокивал оборванец, тыча грязной рукой в жидкую, бурую массу...

Потерявший почву

Подпоручик Иванов вышел в отставку и с Кавказа, где квартировал его полк, приехал в один из городов средней России. Еще будучи юнкером, он получал от своей единственной родственницы, старушки тетки, жившей в этом городе, небольшие суммы денег и теперь, бросив службу «по служебным недоразумениям», приехал к тетке, чтобы пока, до новой должности, пережить трудное время.

Дорогой Иванов скромно мечтал о какой-нибудь должности на железной дороге или в конторе, о чистенькой комнатке, о женитьбе.

Но предположения его не сбылись. Тетка умерла несколько лет тому назад, и он, совершенно одинокий, очутился в чужом городе без средств, без знания жизни.

За короткое время розысков Иванов потратил несколько рублей, бывших при нем, и распродал остатки гардероба; у него осталось одно военное, сильно поношенное пальто, и то без погон, которые он не имел права носить в отставке и продал барышнику «на выжигу». Дошло до того, что хозяин гостиницы, где остановился Иванов, без церемонии выгнал его за неплатеж нескольких рублей, и он вышел на улицу полуголодный, оскорбленный... За неделю, даже накануне, он и не мечтал о таком положении, в каком очутился.

Он пошел по улице и начал заходить из магазина в магазин, из конторы в контору, просил занятий, рассказывал обстоятельства, заставившие его искать работы, и всюду получал отказ то в притворно вежливой, то в грубой форме.

Так, один купец, повертев в руках его чистенький указ об отставке, предложил поступить в швейцары к подъезду.

– Двери будешь открывать, калоши, платье снимать... жалованья пять, да чайных с красненькую набей, а к празднику и с четвертную наподают, только услужить смоги!

Иванов счел это предложение за глумление и ушел, сопровождаемый насмешками.

Заходил он под вечер на железную дорогу, в кондуктора просился, но здесь ему прямо сказали, что без особой протекции высшего начальства мест не дают никому.

Последняя надежда лопнула, и он бесцельно бродил по улицам, шлепая по лужам, образовавшимся за два дня оттепели...

– Куда же идти? – поминутно задавал он себе вопрос и не находил ответа.

Мысли, одна нелепее другой, несбыточные надежды мелькали в его голове:

«Что бы я нашел сейчас на улице тысячу рублей?... Одежда бы щеголем, квартиру бы нанял... Кабинет, чтобы выходил окнами на полдень... Шторы сделаю, как у командира полка, суровые, с синей отделкой... Непременно с синей...» Потом мысли его вдруг перескакивают: он в бою, бросается со взводом на дымящийся редут, захватывает

неприятельское знамя...

Его поздравляет отрядный командир; целует, навешивает ему с себя на грудь беленький крестик... Он уже ощущает крестик у себя на груди...

– Эй, берегись! – раздается голос извозчика и разрушает сладкие мечты.

Иванов вдруг огляделся и почему-то устыдился своего военного, форменного пальто, – того самого пальто, надев которое два года тому назад в первый раз, при производстве, он воображал себя на вершине счастья и с презрением оглядывал всех «штафинок».

А теперь ему самому казалось, что все на него смотрят, как на не годного никуда человека, потерявшего почву бездомника.

Он при каждом случайно остановившемся на нем взгляде прохожего как-то терялся и отворачивался в сторону...

Оборванный рабочий, несший мешок щепок, своим взглядом также сконфузил Иванова.

«Отчего этот оборванец идет гордо, не стыдится, а мне стыдно своего пальто, еще очень приличного?» – задавал себе вопрос Иванов.

«Оттого, что у меня нет почвы, оттого, что рабочий, если его спросят, чем он занимается, ответит: „Работаю“, а если его спросят, где он живет, он назовет свой угол... Вот отчего...» – думал Иванов и шел вперед без цели...

Он еще больше ослаб, утратил последнюю энергию. Зимняя оттепель способствовала этому, а голодный желудок усиливал нравственное страдание. Он в сотый раз ощупывал свои пустые карманы, лазил за подкладку пальто, мечтая разыскать завалившуюся, может быть, монету. Наконец, снял ремень, которым был подпоясан, и продал его за семь копеек в съестной лавке.

Он вспомнил, что при въезде в город видел ряд постоянных дворов. Пятак он оставил в кармане для уплаты за ночлег, а за две копейки купил мерзлого хлеба и, спрятав в карман, ломал по кусочкам и ел из горсти. Это подкрепило силы. Проходя мимо часового магазина, он взглянул в окно. Большие стенные часы показывали семь. Было еще рано идти на постоянный двор, и Иванов зашел в бильярдную. Комната была полна народом. Шла крупная интересная игра. Публика внимательно следила за каждым ударом двух знаменитых игроков.

Иванов, игравший когда-то сам, увлекся, и, сидя около печки, пригрелся и забыл обо всем...

Однако игра кончилась. Кукушка выскочила из часов и прохрипела одиннадцать раз.

Боясь опоздать на ночлег, Иванов с трудом расстался с теплым углом светлой, веселой комнаты и вышел на улицу.

Подмерзло. Крупными хлопьями, напоминавшими куски ваты, валил снег, густым пологом спускаясь на улицу и ослепляя глаза.

Иванов долго шел, спрашивал прохожих и, наконец, добрался, окоченев от холода, до окраины. Ворота одного из постоянных дворов были не заперты. Он вошел в кухню.

– Переночевать бы у вас, – обратился он к дворнику, аппетитно евшему жирные щи с крошеной солониной.

– С лошадей? – спросил дворник.

– У меня лошади нет... я один...

– Один? Без лошадей не пускаем... Мы уж учены... обкрадывали...

– Рядом ступай, там и жуликов пускают! – послышался голос с полатей... И еще новый голос энергично прибавил:

– Гони его к лешему, Федот, по шее его!.. – Иванов вышел.

Из теплой избы, с запахом горячих щей, он опять очутился на улице.

Он постоял на улице, посмотрел, цел ли пятак в кармане, подошел к соседним воротам и долго прислушивался. Было тихо, только слышалось фыркание лошадей и изредка удар копыт о полозья саней.

Он начал стучаться и стучал долго.

– Кто тут? – отзывались наконец со двора.

- Пустите переночевать!
- Двор полон, лошади негде поставить!
- Дверь отворилась. На пороге стоял дворник.
- Я заплачу... Вот пять копеек...
- Уходи, пока ребра целы, жулье... Ишь, ворище, барабанит, будто домой пришел!
- Дверь с треском захлопнулась.

Измученный, голодный, оскорбленный, Иванов скорее упал, чем сел на занесенную снегом лавочку у ворот. В голове шумело, ноги коченели, руки не попадали в рукава... Он сидел. Глаза невольно начали слипаться... Иванов сознавал, что ему надо идти, но не в силах был подняться... Он понемногу замирал...

Удар часового колокола вывел его на момент из забытья... Бьют часы... Он считает: один... два... три... четыре... пять.

Звуки все учащаются. Он считает: двенадцать, тринадцать... четырнадцать... двадцать... Все чаще и чаще бьют удары колокола... Пожарный набат... Зарево перед ним... Вот он около пожара... Пылает трехэтажный дом... Пламя длинными языками вырывается из окон третьего этажа...

Вдруг в одном окне показывается стройная женская фигура в голубом платье... Она умоляет о помощи... ломает в отчаянии руки... К окну подставлена лестница, но никто из пожарных не осмеливается лезть в огонь. А фигура в окне продолжает умолять о помощи... Ее роскошную пепельную косу уже охватывает пламенем... Тогда он, Иванов, бросается в огонь и спасает. Он чувствует приятную тяжесть на своем плече, слышит аплодисменты, одобрения толпы... Руки его обожжены, концы пальцев ноют, но он чувствует себя в блаженном состоянии... Вот он вместе со спасенной красавицей уже в комнате. Самовар стоит на столе. Сквозь голубой полусвет он видит ее, роскошную блондинку; признательно, с любовью, смотрит она ему в глаза... Ему бесконечно хорошо, только ноют обожженные пальцы рук...

Он засыпает на мягком голубом диване...

Вдруг странную, непонятную боль ощущает он в голове, во всем теле... Он пробует открыть глаза, встать, но не может пошевелиться... Он чувствует только, что кто-то обхватил железными ладонями его голову и безжалостно вертит уши... Боль невыносимая...

Иванов старается спросить, что с ним делают, но с языка срывается стон. В ответ слышны слова: «Жив еще, три шибче!»

И опять началась та же ужасная пытка...

Наконец, он открыл глаза. Перед ним стояли люди в шубах и солдатских шинелях. Один тер ему обеими руками уши, а двое других оттирали снегом руки, и еще кто-то держал перед лицом фонарь...

– Вали на извозчика да вези пьянчугу в больницу, вишь, весь обморозился!.. – проговорил оттиравший уши, и Иванова взвалили в извозничьи сани...

В городе в том же году появился молодой нищий на костылях, без пальцев на обеих руках. Он не просил у прохожих, а только на несколько минут останавливался на темных перекрестках и, получив несколько копеек, уходил в свой угол.

Трущоба приобрела себе еще одну жертву...

В царстве гномов²⁷

I. В туннеле артезианского колодца

Мой проводник зажег свечу.

Перед нами зияло черное отверстие подземной штольни, обложенное досками. Над ним

²⁷ К характеристике трущоб считаю не лишним дать читателям два очерка московских подземелий.

спускался канат с крючком. Кругом весь пол был усыпан влажными осколками и грязью, вытащенной из земли. У самого края ямы стоял на рельсах пустой вагончик, облепленный той же грязью. Слева ямы спускалась деревянная, коленчатая лестница с перилами и мало-помалу уходила в мрак подземелья. С каждым шагом вниз пламя свечи становилось все ярче и ярче и вырисовывало на бревенчатой стене силуэты. Дневной свет не без борьбы уступал свое место слабому пламени свечи. Через минуту кругом стало темно, как в заколоченном гробу.

С каждым шагом, с каждой ступенькой вниз меня обдавало все более и более холодной, до кости пронизывающей сыростью. А тихо было, как в могиле. Только ручей под ногами шумел, да вторили ему десятки ручейков, выбивавшихся из каменной стены. Передо мною был низкий и, казалось, бесконечный темный коридор. Я взглянул вверх. Над головой виднелось узенькое окошечко синеватого дневного света – это было отверстие шахты, через которое мы спустились. Узкая лестница уходила вверх какими-то странно освещенными зигзагами и серебрилась на самом верхнем колене.

Через секунду открылось четырехугольное отверстие горизонтального прохода, проложенного динамитом. Это – штольня. Вход напоминал мрачное отверстие египетской пирамиды с резко очерченными прямолинейными контурами: впереди был мрак, подземный мрак, свойственный пещерам. Самое черное сукно все-таки носит на себе следы дневного света. А здесь было в полном смысле отсутствие луча, полнейший ноль солнечного света.

Мерцавшая и почти ежеминутно тухнувшая в руках у меня свечка слабо озаряла сырые, каменные с деревянными рамами стены, с которых капала мелкими струйками вода. Вдруг что-то загрохотало впереди, и в темной дали обрисовалась черная масса, двигавшаяся навстречу. Это был вагончик. Он с грохотом прокатился мимо нас и замолк. Опять та же мертвая тишь. Стало жутко.

Бревенчатые стены штольни и потолок стали теряться, контуры стусевались, и мы оказались снова в темноте. Мне показалось, что свеча моего проводника потухла, – но я ошибался. Он обернулся ко мне, и я увидел крохотное пламя, лениво обвивавшее фитиль. Справа и слева на пространстве немного более двух протянутых рук частым палисадом стояли бревна, подпиравшие верхние балки потолка. Между ними сквозили острые камни стенки туннеля. Они были покрыты какой-то липкой слизью.

Под ногами журчала вода.

– Вот градусник. Показывает всегда семь градусов, зимой и летом. Еще зимой теплее бывает... Босьяки раза два приходили, ночевать просились, зимою-то... А ведь нынче у нас июль...

Вдруг свечка погасла.

Впереди, верстах как будто в двух, горела какая-то тусклая, красно-желтая звезда, но горела без лучей, резко очерченным овалом. Через десять шагов мы уже были около нее; двухверстное расстояние оказалось оптическим обманом. Это была масляная лампочка.

Мы миновали лампу. Вдали передо мной опять такой же точкой заалелся огонек. Это была другая лампа. Начали слышаться впереди нас глухие удары, которые вдруг сменились страшным, раздавшимся над головой грохотом, будто каменный свод готов был рухнуть: это над нами по мостовой проехала пролетка.

Дышать было нечем. Воздуха было мало. Я знал, что его качают особенным аппаратом (Рутта) на мостовой Николо-Воробинского переулкa, но не ведал, много ли еще идти вперед для того, чтобы дойти до устья благодетельной трубы.

Вдали, откуда-то из преисподней, послышались неясные глухие голоса. Они звучали так, как будто люди говорили, плотно зажавши рот руками. Среди нас отдавалось эхо этих голосов. На душе стало как-то веселее. Почувствовалось, что мы не одни в этом подземелье, что есть еще живые существа, еще люди. Раздавались мерные, глухие удары.

Блеснули еще две звездочки, но еще тусклее. Значит, впереди еще меньше кислорода, дышать будет еще труднее. Наконец, как в тумане, показалась желтая стена, около которой стояли и копошились темные человеческие фигуры.

Это были рабочие.

Почва под ногами менялась, то выступала из воды, то снова погружалась в нее. Местами бревна расступались и открывали зиявшее отверстие – лагунку, в которую прятались рабочие при взрыве динамитом твердой породы. Это западня.

Не успел я заглянуть в нее, как до меня донеслось:

– Ставь патроны. Эй, кто там, ступай в западню, сейчас подпалим...²⁸

– Вот сюда, – торопливо толкнул меня в западню мой проводник.

Рабочие зажгли фитили и побежали к западне, тяжело хлопая по воде. Мы все плотно прижались к стене, а один стал закрывать отверстие деревянной ставней. До нас доносился сухой треск горящих фитилей.

Я из любопытства немного отодвинул ставню и просунул голову, но рабочий быстро отодвинул меня назад.

– Куда суешься – убьет! Во какие сахара полетят.

Не успел он вымолвить, как раздался страшный треск, за ним другой, потом третий, затем оглушительный грохот каких-то сталкивавшихся масс, – и мимо нас пролетела целая груда осколков и глыб.

Динамит сделал свое дело.

Сильным ударом камня вышибло нашу ставню и отбросило ее на середину туннеля.

Мы вышли из западни. И без того душный воздух был теперь наполнен густыми клубами динамитных паров и пылью. Лампы погасли. Мы очутились в полном мраке. Выйдя из западни, мы ощутили только одно – глубокую, густую темь. Эта темь была так густа, что осенняя ночь в сравнении с ней казалась сумерками. Дышалось тяжело. Ощупью, по колено в воде, стараясь не сбиться с деревянной настилки, мы пошли к камере, Я попробовал зажечь спичку, но она погасла. Пришлось ожидать, пока вентилятор очистит воздух.

Мина была взорвана.

Человеческий гений и труд завоевали еще один шаг...

*

Таково было дело в июле.

Теперь, в декабре, подземная галерея представляет совсем иной вид. Работы окончены, и из-под земли широким столбом из железной трубы льется чистая, прозрачная, как кристалл, вода и по желобам стекает в Язу. Количество воды не только оправдало, но даже превзошло ожидания: из недр земли ежедневно вытекает на божий свет двести шестьдесят тысяч ведер.

Темная галерея утратила свой прежний мрачный вид. Запах динамита и копоты едва заметен. Стены стали менее скользкими и слизистыми, рельсы сняты и заменены ровным, гладким полом, занимающим большую половину штольни. Другая половина занята желобами. Нижний желоб, высеченный в камне, отводит артезианскую и грунтовую воду в реку, а верхний, меньший, с избытком снабжает чистой водой резервуар, помещенный у начала штольни. В резервуар опущен насос, выходящий на поверхность земли и предоставленный в распоряжение публики.

Самое место выхода воды из труб при известном освещении представляет прелестную картину: вода поднимается прозрачным столбом и концентрическим водопадом падает в ящик, выложенный свинцом. Вторая труба артезианского колодца, идущая вверх, служит вентилятором.

Тридцатимесячная работа гномов кончилась и увенчалась полным успехом.

²⁸ Это командовал производитель взрывов Пав. Львович Николаенко, все взрывы производились только им одним, не отлучавшимся из шахты, когда там были работы. Это был подземный житель.

Неведомо для мира копались они под землей на тринадцатисаженной глубине, редко видя солнечный свет, редко дыша чистым воздухом. Удары их молотков и грохот взрывов не были слышны на земле, и очень немногие знали об их работе.

Пройдут года, вода будет течь обильной струей, но вряд ли кому придет в голову желание узнать, каких трудов и усилий стоило добыть ее из камня...

Ничтожные гномы сделали, однако, свое дело.

1884 г. Москва

II. Полчаса в катакомбах

Неглинка – это арестованная в подземной темнице река, когда-то катившая свои светлые струи среди густых дремучих лесов, а потом среди возникающей столицы в такую же чистую, но более широкую Москву-реку.

Но века шли, столица развивалась все более и более, и вместе с тем все более и более зеленели струи чистой Неглинки, сделавшейся мало-помалу такую же клоакой, какою теперь мы видим сестру Неглинки – Язу.

Наконец, Неглинка из ключевой речки сделалась местом отброса всех нечистот столицы и уже заражала окружающий воздух.

За то ее лишили этого воздуха и заключили в темницу. По руслу ее, на протяжении трех верст, от так называемой Самотеки до впадения в Москву-реку, настлали в два ряда деревянный пол, утверждаемый на глубоко вбитых в дно сваях, и покрыли речку толстым каменным сводом.

С тех пор побежали почерневшие струи Неглинки, смешавшиеся с нечистотами, не видя света божьего, до самой реки.

И она стала мстить столице за свое заточение. Она, когда полили дожди, перестала принимать в себя воду, и обширные озера образовались на улицах, затопляя жилье бедняков – подвалы.

Пришлось принять против упорства Неглинки серьезные меры, и нашлись инженеры, взявшиеся за это дело.

В 1886 году, осенью, было приступлено к работам.

В это время мне вздумалось осмотреть эту реку-заточницу, эти ужасные подземные катакомбы.

Тогда только что приступили к работам по постройке канала.

Двое рабочих подняли на улице железную решетку колодца, в который стекают вода и нечистоты с улиц. Образовалось глубокое, четырехугольное, с каменными, покрытыми грязью стенами отверстие, настолько узкое, что с трудом в него можно было опуститься. Туда спустили длинную лестницу. Один из рабочих зажег бензиновую лампочку и, держа ее в одной руке, а другой придерживаясь за лестницу, начал спускаться.

Из отверстия валил зловонный пар. Рабочий спустился. Послышалось внизу глухое падение тяжелого тела в воду и затем голос, как из склепа:

– Что же, лезь, что ли!

Это относилось ко мне. Я подтянул выше мои охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы кожаный пиджак и стал опускаться.

Локти и плечи задевали за стенки трубы. Руками приходилось крепко держаться за грязные ступени отвесно стоящей качающейся лестницы, поддерживаемой, впрочем, сверху рабочим, остававшимся наверху.

С каждым шагом вниз зловоние становилось все сильнее и сильнее. Становилось жутко.

Наконец, слышался подо мной шум воды и хлюпанье.

Я посмотрел вверх. Мне виден был только четырехугольник голубого, яркого неба и улыбающееся лицо рабочего, державшего лестницу.

Холодная, до кости пронизывающая сырость охватила меня. Наконец, я спустился на

последнюю ступень и, осторожно опуская ногу, почувствовал, как о носок сапога зашуршала струя воды...

– Опускайся смелей; становись, неглубоко тутот-ка! – глухо, гробовым голосом сказал мне рабочий.

Я встал на дно, и холодная сырость воды, бившейся о мои колени, проникла сквозь сапоги.

– Лампочка погасла, нет ли спички, я подмочил свои, – опять из глубины тьмы заговорил невидимый голос.

Спичек у меня не оказалось, рабочий вновь полез наверх за ними. Я остался совершенно один в этом дальнем склепе и прошел, по колено в бурлящей воде, шагов десять.

Остановился. Кругом меня был страшный подземный мрак, свойственный могилам. Мрак непроницаемый, полнейшее отсутствие солнечного света. Я повертывал голову во все стороны, но глаз мой ничего не различал. Я задел обо что-то головой, поднял руку и нащупал мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод – и нервно отдернул руку... Даже страшно стало.

Тихо было, только внизу журчала вода. Каждая секунда ожидания рабочего с огнем мне казалась вечностью. Я еще подвинулся вперед и услышал шум, похожий на гул водопада. Действительно, как раз рядом со мной гудел водопад, рассыпавшийся миллионами грязных брызг, едва освещенных бледно-желтоватым светом из отверстия уличной трубы.

Это оказался сток нечистот и воды с улицы.

За шумом водопада я не слышал, как ко мне подошел рабочий и ткнул меня в спину.

Я обернулся.

В руках его была лампочка в пять рожков, но эти яркие во всяком другом месте огоньки здесь казались красными звездочками, без лучей, ничего почти не освещавшими, не могшими побороть и фута этого непроницаемого мрака, мрака могилы.

Мы пошли вперед по глубокой воде, обходя по временам водопады стоков с улиц, гудевшие под ногами.

Вдруг страшный грохот, будто от рушащихся зданий, заставил меня вздрогнуть.

– Что это такое? Обрушилось что? – испуганным голосом спросил я.

– Это мы из-под бульвара под мостовую вышли, по площади телега проехала, ну и загремело.

Потом все чаще и чаще над моей головой гремели экипажи, но так гремели и так страшно отдавался этот гром в подземелье, что хотя я и знал безопасность этого грома, но все-таки становилось жутко.

С помощью лампочки я осмотрел, стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью.

Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину или невылазную, зловонную, жидкую грязь, местами наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было идти прямо. В одном из таких заносов я наткнулся на что-то мягкое. При свете лампочки мне удалось рассмотреть до половины занесенный илом труп громадного дога. Он лежал свех стока.

– И люди, полагать надо, здесь упокоены есть, – пояснил мне спутник.

– Люди?! – удивился я.

– Надо полагать; мало ли в Грачевских притонах народа пропадает; поговаривают, что и в Неглинку спускали... Опять воры, ежели полиция ловила, прятались сюда... А долго ли тут и погибнуть... Чуть обрушился, и готов.

Мы продолжали идти, боязливо ощупывая дно ногой, перед тем как сделать шаг.

Впереди нас показалось несколько красноватых, чуть видных звездочек, мерцавших где-то далеко, далеко.

– А далеко еще? С полверсты будет? – спросил я.

Да вот и пришли.

Я был поражен. Огонек, казавшийся мне за полверсты, был в пяти шагах от меня. Так непроницаем подземный мрак.

Далее идти было невозможно. Дно канала занесено чуть не на сажень разными обломками, тиной, вязкой грязью, и далее двигаться приходилось ползком. Притом я так устал дышать зловонием реки, что захотелось поскорее выйти из этой могилы на свет божий.

Я остановился у люка наверх и снова увидел четырехугольник голубого неба. Я пробыл в катакомбах полчаса, но эти полчаса показались мне вечностью. Я выбрался наверх и долго не мог надышаться чистым воздухом, долго не мог смотреть на свет...

Недавно я вновь сделал подземную прогулку и не мог узнать Неглинного канала: теперь это громадный трехверстный коридор, с оштукатуренным потолком и стенами и с выстланным тесаным камнем дном. Всюду можно идти во весь рост и, подняв руку, нельзя достать верхнего свода. От старого, остался только тот же непроглядный мрак, зловоние и пронизывающий до костей могильный холод...

В бою **(Рассказ нищего)**

Тусклая висячая лампочка, пущенная вполсвета, слабо освещала внутренность коечной квартиры.

Это была большая, высокая комната, с обвалившимися остатками лепной работы на почерневшем потолке, с грязными, оборванными обоями. По стенам стояли самодельные кровати – доски на деревянных козлах.

На кроватях виднелись фигуры спящих. В темном углу из-под груды разноцветного тряпья выставилась седая борода и лысая голова, блестящая от лампы.

Как раз под лампой, среди комнаты, за большим столом, на котором громоздилась груда суконного тряпья, сидело четверо. Старик портной в больших круглых очках согнулся над шитьем и внимательно слушал рассказ солдата, изредка постукивавшего деревянной ногой по полу. Тут же за столом сидели два молодых парня и делали папиросы на продажу.

Солдат курил папиросы и рассказывал о своем прошлом, о том, как он на службу из конторщиков попал, охотой пошел, как его ранили, как потом отставку получил и как в нищие попал.

– Что делать, – говорил он, – выписали меня из гошпиталя... Родных никого... Пристанища нет... Я к тому, к другому... Так и так, мол, нельзя ли местешко... А он, кому говорил-то, посмотрит на ноги, покачает головой, даст там пятак – гривенник и шабаш. Рубля два в другой раз наподают... Плюнул это я места искать... В приют было раз зашел, прошусь, значит, раненый, говорю.

– А ты, солдатик, от кого? От генерала прислан? – спрашивает меня швейцар.

– Нет, – говорю, – сам по себе, я заслуженный...

Швейцар махнул рукой и говорит:

– Зря, брат, просишься! Ступай лучше, здесь без рекомендации не примут.

– Как, – говорю, – не примут? Обязаны, я раненый, ноги нет...

Смеется швейцар. А сам толстый такой, щеки лоснятся.

– Чего смеешься? – спрашиваю я.

– Раненый? Эх, брат ты мой, много раненых тут ходит, да берут-то мало... Лучше брось и хлопотать, коли знакомства нет...

Тут какой-то генерал прошел, швейцар бросился раздевать его, и я ушел... Еще кой-куда совался – везде отход... Ну, братцы вы мои, и начал я милостинку собирать и перебиваюсь благодаря бога... Куда я больше годеен без ноги-то?.. Посбираешь, придешь на койку... Сыт, тепло... Старое времечко вспомнишь, и жив тем... Ведь и я, голубчики мои, удалой был в свое время... Эх, да и времечко же было, вспомнить любо! Охотой, братцы вы мои, на войну-то я пошел. На Кавказ нас погнали. Шли мы горами да ущельями, недели две шли, Казбек-гору видели с вековыми снегами и в духанах водку фруктовую, вонючую пили... С песнями больше шли.

Жара стояла смертельная, горы, пыль, кремнем раскаленным пахнет, люди измучились, растянулись, а чуть команда: «Песенники, вперед», и ожило все, подтянулось. Загремит по горам раскатистая, лихая песня, хошь и не особенно складная, а себя другим видишь. Вот здесь, в России, на ученьях солдатских песни все про бой да про походы поются, а там, в бою-то, в чужой стороне, в горах диких, про наши поля да луга, да про березку кудрявую, да про милых сердцу поются:

Ой, не ласково приняла,
Ой, огорчила ты меня!

Хватит, бывало, запевала, весь в поту и в пыли, заломив шапку на затылок, и сердце захолонет, и слеза по пыльной щеке сбежит и грязной каплей скатится на насквозь пропотевший ремень ранца... Да забывчивость-то ненадолго... Запевала уж другую выводит:

Гремит слава трубой,
Мы дралися за Лабой;
По горам твоим, Кавказ,
Уж гремит слава об нас!

Подхватишь – и печаль-тоска вон из сердца.

Пришли наконец в отряд. И места же! Направо – море, налево и впереди – горы и леса по тем горам дремучие. Не такие леса, как у нас, не сосны, не ели, а все граб, пальма, грецкие орехи, инжир, на котором винные ягоды растут, и все это виноградником да колючкой переплетено. Проклятая эта колючка, сколько народу в ней погибло! Запутался раз, и шабаш, не выйдешь, как когтями зацепит; и чем больше ты вертишься, тем больше цепляет она тебя... Фруктов там разных – чего хочешь, того просишь. Цветы опять: магнолий-цветок в лесу растет, и всякой другой. Хорошо! Только насчет лихорадки да змей страшно... Опять скорпионы с тарантулом, вроде как не то пауки, не то раки, народ насмерть жалят... Ночь придет – чекалки (шакалы, по-нашему) песню свою затянут... Таково жалобно, будто хоронят кого...

Стоим это ночью в цепи... Темь – зги не видно... Тихо... Только справа где-то, внизу, море рокошет... И чем шибче бьются валы, тем спокойнее на душе. Знаешь, когда бурный прибой, то и неприятель на берег с судов не высадится, значит – со стороны моря не бойся, только вперед гляди-поглядывай.

А впереди темь...

Такая темь, будто у тебя глаза закрыты... На слух больше неприятеля ловишь...

Жутко первое время было в цепи стоять... Чего-чего не придумаешь... И убьют-то тебя, и в плен возьмут, и шкуру с живого драть будут, и на кол посадят... А потом в привычку вошло, и думушки нет: стоишь да послушиваешь, да житье-бытье российское вспоминаешь...

Привык я малость в цепи стоять, а там в охотники выбрали, стали посылать в секреты да на разведку.

Умирать буду, не забуду, как нас в охотники выбирали.

Выстроили весь отряд четырехугольником, а в отряде-то тысяч десять народу. Стали, ждем – стоим. Отрядный генерал на середину выехал, поздоровался: «Здорово, братцы!» – «Здравия желаем, ваше превосходительство!» – гаркнули. Объехал нас и выслал адъютанта. Красавец офицер, на вороном коне, с «егорьем» на груди.

Выехал адъютант и скомандовал «смирно!». Потом такую речь повел, – каждое слово по гроб не забуду!

– Братцы-товарищи! Все мы пришли сюда на смертный бой с неприятелем и за веру, царя и отечество готовы пожертвовать жизнью своей. Здесь десять тысяч храбрецов, готовых в бой. Нам надо выбрать шестьсот охотников. Помните, братцы-товарищи, что охотники

идут на верную смерть, и мало того, на смерть, на муку, на пытки. Если охотника пошлют в турецкий лагерь, где с него с живого сдерут кожу, где его посадят на кол, – он должен идти. Если охотнику прикажут стать под выстрел – он должен стать и умереть. Никто из охотников не увидит своих родных, своей родной России: он должен умереть здесь, под пулей и кинжалом неумолимого врага. У охотника нет надежды на спасение: еще раз повторяю – никто из них не увидит России, не увидит семьи... Итак, друзья, нам нужны шестьсот человек, обрекающих себя на смерть, шестьсот охотников.

Адъютант смолк.

Оглянулся я: у солдат лица как-то разгорелись, глаза заблестали. Направо от меня, рядом, стояли пешие казаки в длинных черкесах и высоких черных папахах, заломленных на затылок... Как вкопанные, будто не им говорят, стояли они.

Адъютант еще раз скомандовал «смирно» и громким голосом крикнул:

– Желающие в охотники – шаг вперед...

Я взглянул на казаков. Как один человек, все они сделали шаг вперед и остановились так же спокойно, как и были.

И наши зашевелились, многие вышли вперед...

Не помню, как и что, но я тоже очутился впереди.

Много лишних в охотники вышло. Вместо шестисот-то тысячи впереди очутились. По жеребью выбрали шестьсот, а остальных в запас записали, на случай, ежели тех перебьют.

Стали мы жить отдельно, по-охотничьи.

Сняли сапоги, поршни – вроде как башмаки – из буйволово́й кожи надели, кошки на пояс повесили: когти будто железные сделаны, – если в дождик в гору идти, так под подошвы подвязывали, ну, и не склизко: идем по мокрой глине, как по лестнице.

Жара началась особенная: чуть вечер, весь отряд спать располагается, а мы вперед до утра, за турецким лагерем следить, своих беречь, да если что у неприятеля плохо лежит – скот ли распущен, лошади ли в недосмотре, часовые ли зазевались – все нам, охотничкам, годилось. И якши и яман – все клади в карман! И скоту, и домашним вещам, и оружию, и часовому – всем настоящее место нахаживали.

Каждую-то ночь таким манером...

Больших дел все не было. Ждали мы ждали да и дождались же! Часов так около четырех утра...

Дежурным я при балаганах в эту ночь оставался. Вдруг слышу, тревогу вызывают, а со стороны турецкого лагеря мелкой дробью ружейные выстрелы: та-даа-та-та, та-та, та-та, та-та, тррр...

Наша команда уже выстроилась и бегом помчалась вниз, к цепи...

Сзади нас, в лагерях, суматоха: войска выбегали из балаганов... С гор – неприятель... Вот первая пуля просвистала над головою... Потом другая, третья – как шмели. Одна из черных полосок впереди вдруг остановилась на полугоре. Что-то задвигалось, ярко блеснуло на солнце, и четыре больших белых клуба поднялись к облакам... Бау... бу... бу... бау... – загромыхали орудия, зашуршали и завывли гранаты над головою. Одна около нас хлопнулась, бац! Как молонька сверкнула из нее, а потом завизжали осколки, дым нас окутал... Юнкер со мной шел, – гляжу, вскрикнул и упал... Лежит на спине, разбросал руки... Я было наклонился поднять, да уж поздно: грудь вся изуродована, кровь, клочки мяса да сукна...

– Носилки... носилки, – слышно кругом, а там – команда: «Бегом марш», и снова мы помчались... Около раненых оставили четверых...

Еще пуще завывли, зашипели над нами гранаты и засвистали пули... А мы все бежали, все бежали...

Вот и цепь...

Нас рассыпали: залегли мы в кусты – и началась лихая перестрелка.

Неприятель стрелял через нас, и наши сзади стреляли, тоже через нас. Сущий ад кругом! Солнышка от дыму не видать... Ружейные выстрелы кругом – как хлопущки... та-та-та-та-та. Пули визжат да посвистывают на все голоса, – как на пчельнике! Орудия и с

той и другой стороны: бо-у, бу-бу-боу-бу-бу, боу!.. Гранаты рвутся одна за другой: тах-тах, только осколки от них воют...

Еще из команды двоих убили...

А бой все сильнее разгорался, – то и дело подносили к нам патронные ящики... Ствол моей берданки совсем горячим стал...

Долго продолжалась перестрелка и, наконец, перешла в наступление.

Сначала один горнист, где-то далеко, затрубил чуть слышно, меж гулом выстрелов: та-та-та-та, та-ти, та-та, та-ти, та-та, та-ти-тата, та, та, та, а потом все ближе и ближе, на разные голоса и другие горнисты заиграли наступление... Выстрелы сделались еще чаще... Среди нас громыхала артиллерия, и, как на ученье, в ногу, шли колонны... Когда они поравнялись с нами, раздалась команда: «Пальба батальонами»... Присоединились мы кучками к надвинувшимся войскам...

Дым как-то реже стал, ветерок с моря потянул, и перед нами открылась неприятельская твердыня, – замелькали красные фески, заблестали ружья...

«Батальон, пли!» – раздалась команда, и грянул залп... Вместе с тем грянули и наши орудия. Опять залп, опять орудия, опять залп... Неприятельские выстрелы стихли, наши горнисты заиграли атаку... Раздалась команда: «Шагом марш!» Та-да, та-да-та-да, та-да, та-та-а, та-ди-та-ди, та-ди-та-да та-та-а, все чаще, и чаще, и чаще гремела музыка, все быстрее и быстрее шли мы, и все чаще и чаще падали в наших рядах люди.

А мы шли. Что со мной было – не знаю... Но сердце трепетало, каждая жилка дрожала, – я ничего, ровно ничего не боялся... Вот уж несколько десятков сажен до неприятельской батареи, исчезающей в дыму, сквозь который только и мелькают красные молнии огня, а нас все меньше и меньше... Вот музыка замолкла – только один уцелевший горнист, неистово покрывая выстрелы, как перед смертью, наярывал отчаянное та-да-та-да та-да-та-да... А вот и команда: «Ура!»... Мы ждали «ура!».

– Урра! – загревели мы в ответ и бросились на молнию выстрелов, на гребне высокого вала...

Я перепрыгнул ров, не помня себя... Перед самыми глазами ослепил и оглушил меня выстрел, блеснул ятаган над головой и – фигура в красной феске... Я всадил штык в эту фигуру; сзади, вместе с ней, нас толкнули наступавшие, и мы оба полетели в ров... Урра!.. Алла! Стоны раненых, выстрелы ружей, хрип умирающих слышались мне, а я лежал, придавленный окровавленной фигурой в красной феске... Вдали гремело: бау-бу, бу-бай!..

*

В квартире уже никто не спал... Все ночлежники поднялись на своих койках и слушали солдата...

Лишь из-под груды разноцветного тряпья блестела седая борода и лысая голова старого нищего...

Грезы

Ей снился сон...

Вот она надевает коротенькое коричневое платье и черный фартук. Она торопится и никак не может застегнуть сзади фартук.

– Соня, Соня! – кричит она и топает своей маленькой ножкой.

Но Соня не слышит...

– Соня!

В соседней комнате раздаются частые легкие шаги, и вбегает полненькая, розовая, с большими черными глазами девочка лет десяти.

– Соня, да застегни же мне фартук...

Соня застегивает и бежит. Она тоже торопится...

Снился ей затем публичный акт, ряды гимназисток, чопорные классные дамы, стоящие перед своими классами, покрытый красным сукном стол, а за ним генералы в звездах, а посередине их сама начальница, также сухая, как щепка, седая, со сдвинутыми бровями и гордо щурящимися глазами.

– Екатерина Казанова! – провозгласил кривой секретарь педагогического совета, которого звали «Камбала».

Она выходит.

Начальница и седой генерал поздравляют ее и подают ей большой атласный лист и коробочку с тяжелым желтым кружком...

– Счастливица Казанова, золотую медаль получила... Вот счастье... Поздравляем... Желаем всего лучшего... – слышится всюду...

Она сама кланяется гимназисткам, но вдруг коричневые платья их и беленькие личики исчезают... Контуров их еще обрисовываются в тумане, а из-за контуров выплывает что-то зеленое...

Это зеленое все более и более заливают пространство. Уж можно рассмотреть листья и стволы деревьев.

У корней деревьев еще видны коричневые платица и много, много ножек...

Но и они сливаются с зеленью...

Перед глазами выступает старый липовый сад. Клумбы цветов, скамейка...

На скамейке сидит девушка в розовом платье, рядом молодой брюнет... Глаза у него большие, черные, как ночь, томные... Только как-то странно напущены верхние веки, отчего глаза кажутся будто двухэтажными... В них играет луч солнца, освещающий толстые, пухлые ярко-красные губы, с черными, как стрелки, закрученными блестящими усиками.

Девушка в розовом платье так и впивается глазами в брюнета... Тот говорит о вечной любви, о бесполезных и вышедших из моды обрядностях, без которых хорошо люди живут, о взаимном труде, о...

Этот сон сменяется новым...

Шумная улица многолюдной столицы, голубой свет электрических фонарей. Она стоит у роскошного отеля и смотрит в окна. А там, сквозь зеркальные стекла, видны кружащиеся в вальсе пары и между ними знакомые двухэтажные глаза и выхоленные усики над ярко-красными губами. У него та же улыбка, то же заискивающее выражение глаз, как было тогда в саду.

Она вспоминает выражение его глаз совершенно другое...

Глаза его начали меняться уже в вагоне, по дороге в столицу, куда они вдвоем, в отдельном купе, ехали искать, как он говорил там, в саду, «света знаний, истины и труда».

Все чаще и чаще с того времени стал являться этот взгляд вместо прежнего ласкающего, затем тон голоса перешел сначала в небрежный, а потом в грубый...

Только раз по прибытии в столицу она видела его прежнюю улыбку, прежний взгляд.

В этот день ее золотую медаль, этот желтый кружочек в коробочке, которому так все завидовали в актовом зале, он унес куда-то и явился вечером в щегольской черной паре, а затем начал исчезать из номера с утра и приходил ночью...

Из заискивающего прежде он сделался окончательно гордым, недоступным, злым.

Он получил место секретаря при каком-то благотворительном обществе.

А она сидела в номере целый день одна, в черном поношенном платье...

Ей нездоровилось... Выходить она уже давно не могла...

Все хуже и хуже он относился к ней...

Она плакала целыми днями...

Из дома ей пришло только одно письмо от сестренки Сони, которая писала, что отец проклял ее.

Вскоре за получением письма брюнет ее бросил...

Перед этим он долго говорил о столичной жизни и ее требованиях, об увлечениях

юности, о карьере общественного деятеля и наконец сказал:

– Мы не созданы друг для друга, наши дороги разные... Ты поезжай домой к отцу, а я...

И с тех пор они не видались.

Как сквозь туман, видит она седую старушку, ухаживающую за ней, за больной, помнит она страшную боль, когда будто рвут ее на части, затем спокойное, блаженное забытие, сквозь которое, как райская музыка, слышится ей нежный крик ребенка...

А затем холодная осенняя ночь, она одна, совершенно одна на улице, – потом толпа, электрический свет, блестящий бал, кружащиеся под звуки вальса пары и знакомая улыбка.

– Жених, жених! – слышится в толпе, когда он появился у окна...

Ей ужасно хочется увидеть невесту... У ней озябли ноги, она дрожит сама от холода, а все стоит и не отводит от окна глаз.

Вот, наконец, он подходит к окну и знакомыми томными глазами нежно смотрит на свою даму...

Потом ей снился высокий мост с железной решеткой, свист ветра, непроглядный мрак, черная пропасть реки, плескавшейся о каменные устои.

Она несколько раз становилась на эту решетку, вновь слезала с нее на деревянную настилку моста и прислушивалась к плеску волн...

Потом промелькнули перед ней незнакомые лица, тройки, мчавшиеся за город, попойки и тяжелое пробуждение от них.

Вот она видит эстраду гостиницы; на эстраде хор в парчовых сарафанах, на ней – такой же сарафан...

Развеселившаяся публика слушает залихватскую песню:

А бумажечки все новенькие,
Двадцатипятирублевенькие...

Но опять мрак закутывает блестящую эстраду, веселая песня постепенно переходит в звуки хриплых, пьяных голосов, слившихся с звуками ревущей скрипки и кларнета, стук стаканов и бутылок...

Вместо блестящей эстрады ей видится низкая комната, освещенная двумя висячими лампами, пьяные мастеровые, нарумяненные женщины...

Одну из них бьют и выталкивают на улицу...

Снится ей отдельное купе вагона... Поезд мчится... вагон мерно покачивается, он смотрит на нее прежним, ласковым взором, говорит ей о вечной любви, о взаимном труде... Ей холодно... Она просит его поскорей закрыть окно, откуда дует холодный ветер.

А вагон все покачивается и усыпляет ее крепче, крепче...

*

В «холодную» при полицейском доме вошел толстый смотритель.

– Кого еще привезли? – спросил он городского...

– Девку какую-то... Вон и билет ее, за чулком нашли... Подняли у трактира в Безымянке... Насилу довели, сани маленькие, сугробы, лошадь не везет...

На мокром полу «холодной», разметав руки и закрыв глаза, лежала женщина в вылинявшем зеленом шерстяном платье... Набеленное, испитое лицо ее было избито. Смотритель взглянул на желтую бумажку, которую ему подал городской.

– А, опять старая знакомая, Катька Казанова... Эх, повадилась! Ну, запри ее...

Смотритель вышел. Вслед ему заскрипел тяжелый засов двери...